





Эльдар
Рязанов

•

Любовь — весенняя
страна



Э. Прозин

Золотая серия поэзии

Эльдар
Рязанов

Любовь — весенняя
страна

•

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
Р99

*Лучшие стихотворения прошлого и настоящего —
в «Золотой серии поэзии»*

Серия основана в 2001 году

Оформление художника *Е. Ененко*

Рязанов Э. А.

Р 99 Любовь — весенняя страна. — М. : 2013. — 352 с.

ISBN 978-5-699-12269-1

Страсть Эльдара Рязанова к стихосложению давно уже ни для кого не является тайной. И хотя поначалу режиссёр скромно скрывался за именами «великих», но прекрасные песни на его стихи мгновенно вышли за рамки киноэкрана и стали всенародно любимыми.

Перед вами книга стихотворений Эльдара Рязанова. В этих простых и трогательных строчках угадывается высочайшая житейская мудрость и очень чистая душа автора.

**УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5**

ISBN 978-5-699-12269-1

МАЛЕНЬКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Известно, что работа любит дураков. И я рад, что принадлежу к этой категории человечества.

Моя главная профессия — кинорежиссёр. Не буду рассказывать о своих лентах. В кинематографе у меня сложилась счастливая судьба, и многие из вас, вероятно, видели немало игровых кинокартин, которые я поставил. Нормальному человеку этой иссушающей душу и тело профессии хватило бы с головой. Но мне этого показалось недостаточным, и я занялся ещё и литературным трудом. Поначалу вместе с Эмилом Брагинским мы писали сценарии для кино, повести для чтения и комедии для театра, а потом я отделился и стал сочинять на бумаге в одиночку. Но двух профессий тоже оказалось маловато, я ещё полез и на телевидение. Популярной программе «Кинопанорама» я отдал семь лет жизни — с 1979 по 1986 год. Да и сейчас, бывает, выпускаю на ТВ свои авторские программы. Кроме того, время от времени я преподаю на высших режиссёрских курсах, и несколько моих учеников сделали удачную кинокарьеру: Ю. Мамин, И. Дыховичный, И. Фридберг, Е. Цымбал, В. Мустафаев. А если упомянуть встречи со зрителями, выступления в печати и спорадически возникающую общественную активность, то перед Вами, дорогой Читатель, предстанет образ ненасытного честолюбивого трудяги. Этот тип и в отпуск уходит только для того, чтобы набраться сил для дальнейших подвигов на ниве работы, а отнюдь не для удовольствия, не для кайфа, не для улады. А ведь помимо трудовой деятельности, существуют и домашние заботы, проблемы у близких, хлопоты за друзей, болезни и прочие житейские приятности и, большей частью, неприятности. Поэтому главный дефицит для меня — нехватка времени. Порой приходится разрываться на куски, чтобы успеть сделать всё намеченное. Конечно, я — жертва собственного характера, и в книге вы найдёте немало стихов на эту тему.

А теперь о стихах...

Параллельно с многочисленными и разнообразными занятиями и обязанностями существовало во мне что-то вроде внутреннего монолога или, если хотите, стихотворного дневника. Нормального дневника — ежедневных записей о делах, мыслях и чувствах — я, к сожалению, никогда не вёл, и теперь многое, что хорошо бы воскресить, забыто. И, вероятно, навсегда! Но остались стихи, в какой-то мере восполняющие этот пробел. В них фиксировалось то, что не находило себе места, да и не могло найти, в сценариях и фильмах. Кинематографу подвластно всё, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души. Но режиссёр создаёт произведение с помощью писателя, актёров, оператора, художника, композитора. Любой фильм — своеобразный сплав дарований или бездарностей. Да, примат режиссёра несомненен. Недаром ленты называют именем режиссёра — фильм Рене Клера или Сергея Эйзенштейна... И тем не менее каждая кинокартина — коллективное детище.

Наверное, мучительное желание высказаться о личном, только своём, стремление поделиться чем-то заветным, жажда исповеди и побудили меня к стихотворству. Исповедальность — то, к чему властно тяготеет каждый вид искусства. В этом смысле поэзия наиболее интимна. Превосходит её разве что музыка. В искренности, правдивости чувств, обнажении тайников души, умении заглянуть в человеческие глубины — наверное, суть поэзии. И, конечно, при этом очень важна форма — гармония рифм, ритмов, а также сочетания, столкновения обычных, стёртых слов, от которых к ним возвращается их первоначальное значение. Истинная поэзия всегда музыкальна, в ней существует некое звуковое волшебство... Я достаточно критически отношусь к своим поэтическим опусам, но они — мои, они выражают мои мысли и чувства и, собственно говоря, больше ни на что не претендуют.

Эта книжка — наиболее полный сборник моих стихов. Если Читателю покажется, что книжка местами чересчур грустна, то пусть он вспомнит, что жизнерадостные и весёлые свойства природы я тратил в это же самое время на создание комедий для кино и театра и там, очевидно, подрастратил свой смеховой запас. Правда, и для стихов тоже кое-что осталось. Если же Читателю покажется, что книжка местами носит чересчур личный, интимный характер, то пусть он вспомнит, что гражданские взгляды были отданы мной в тот же отрезок времени кинематографу, телевидению, театру, публицистике.

Время от времени в ткань этого поэтического сборника будут вкрапливаться небольшие прозаические новеллы, рассказывающие о разных событиях, о судьбе стихов. В общем, то, что осталось за рамками моих поэтических попыток...

Итак, в добрый путь, дорогой Читатель!

Эльдар Рязанов

* * *

*В трамвай, что несётся в бессмертье,
попасть нереально, поверьте.
Меж гениями — толкотня.
И места там нет для меня.*

*В трамвае, идущем в известность,
ругаются тоже, и тесно.
Нацелился было вскочить,
да чёрт с ним, решил пропустить.*

*А этот трамвай до Ордынки.
Я впрыгну в него по старинке,
повисну опять на подножке
и в юность вернусь на немножко.*

*Под лязганье стрелок трамвайных
я вспомню подружек случайных,
забытых товарищей лица.
И с этим ничто не сравнится!*

Сентябрь 1986



В детстве очень любил
читать. Был просто за-
пойманный читатель. В шко-
ле меня даже прозвали
"Ходячая энциклопедия".
Думаю, мне здесь лет 10.

ДВЕ ВСТРЕЧИ С КОНСТАНТИНОМ СИМОНОВЫМ

Лет в шестнадцать я начал писать стихи. Поэтический зуд не являлся следствием каких-то особых переживаний или небывалого личного опыта. Скорее всего, причиной этому было мужское созревание, интерес к другому полу, типичные для юного возраста мысли о бренности всего земного, о быстротечности жизни. Стихи я писал, конечно, не самостоятельные. Да и откуда ей было взяться-то, самостоятельности?! Сочиняя, я невольно подражал. Что любопытно, подражал высоким поэтическим образцам в той хронологической последовательности, в какой поэты располагались в истории литературы. Начал, стало быть, с имитации Пушкина. Его стихотворные размеры, рифмы, интонации, обороты речи преобладали в самых первых моих опытах. Причём процесс подражания и смены поэтических кумиров происходил бессознательно, я им не управлял. Сначала сами собой получались стихи «под Пушкина». Через месяц-другой я принимался строчить «под Лермонтова». Разница заключалась скорее в тематике, нежели в форме. Темы стихотворений становились безысходней, тоскливей. Влияния Некрасова я почему-то избежал. Как-то случилось, что я прошёл мимо его «кнутом иссеченной музыки». Зато надолго (аж месяца на два!) застрял на Надсоне. Вот что оказалось близко невероятно — горькие, печальные строчки, которые к тому же оказались и пророческими: поэт умер двадцати трёх лет. Постоянные стихотворные упражнения, кое-какой появившийся опыт давали себя знать — поэтический слух становился тоньше. Отныне моим воображением прочно и надолго завладел Сергей Есенин. 1943 – 1944 годы, война — поэт со своей кабацкой тоской был в опале. Его уже много лет не переиздавали. Книг Есенина было невозможно достать, стихи ходили в рукописных списках. Я отчётливо помню, как в 1944 году впервые проглотил «Чёрного человека». Эта поэма считалась особенно опасной, и поэтому читали её тайком, не распространяясь о прочитанном. Примерно так же много лет спустя — в шестидесятых, семидесятых — мы знакомимся с «самиздатом» или книгами эмигрантских издательств. Вскоре к Есенину присоединилась Анна Ахматова, на которой тоже лежала печать официального проклятия. Так что подражания стали более сложными. Стихи я писал очень неумелые, как правило, пессимистические и всегда бездарные. Но это я понимаю сейчас. Тогда же мои вирши казались мне изумительными. Каждый новичок, когда видит, что у него вроде всё получается как у людей, преисполнен восхищения самим собой. Как часто молодой режиссёр, глядя на свои первые экранные опыты, погружается в эйфорию. Подумать только — актёры двигаются, их видно, слышно, что они произносят, кадры склеены между собой. И у автора возникает ощущение чуда: это он смастерил кино, сделал фильм! И видно, и слышно, — словом, всё как у людей! А это всего-навсего азы ремесла, которые к искусству пока ещё никакого отношения не имеют.

К сожалению, потерялась заветная тетрабочка с моими юношескими опытами. Думаю, если бы я их сейчас почитал, сильно бы потешался. Но некоторые строчки помню.

Я на земле случайный посетитель!
Зашёл и вышел — мне далёкий путь.
Родная! Вы такая же! Поймите!
Пока есть время, можем мы кутнуть!

Смахивает на пародию. Тут всё заёмное: мысли, чувства, с позволения сказать, образы. Признаюсь, я был нищ невероятно, и кутнуть мне, в общем-то, было не на что. Так что это заявление не имело под собой никакой реальной почвы. А как вам такой загиб, случайный (обожателем Маяковского я не был никогда):

— Я сегодня
не настроен
на лад философский.
Радость сжата лапою ледяною:
Я измочален
тоскою чертовскою,
Но всё равно
я пою, а не ною!

Конечно, это надо печатать лесенкой. Чтобы было совсем как у Владимира Владимировича.

Я был плодовит, и вскоре у меня образовалась довольно толстая тетрадка стихотворений. Приятелям они, естественно, нравились, но я жаждал услышать профессиональное мнение из уст какого-нибудь знаменитого поэта. Самым знаменитым поэтом в 1944 году был, конечно, Константин Симонов.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...

...Так убей же его хоть раз,
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!..

Если был в те дни поэт, рождённый военным временем и наиболее полно выразивший это время, — конечно же, это был Константин Михайлович. Ему тогда исполнилось 30 лет, если вдуматься, совсем молодой человек. В стране, пожалуй, нельзя было найти жителя, который не знал бы имени Симонова, его стихов, его любви к Валентине Серовой, не любил бы мужской интонации его стихотворений.

На пикапе драном
И с одним наганом
Первыми врывались в города...

Конечно, стихи надо было показывать ему и только ему. И я принялся за поиски. Не помню уж, каким способом (никаких знакомств в мире литературы и искусства у меня не было!) я раздобыл номер его телефона. И вот я начал регулярно названивать по этому номеру, пока наконец, на седьмой или на десятый день, не откликнулся мужской картавый голос. Это был Симонов. Я объяснил, кто я такой, рассказал, что только окончил десятый класс, пишу стихи, и мне очень хочется показать их ему. Без особого сопротивления Симонов согласился почитать мои опусы. Сейчас я поражаюсь, как это он не увильнул и не отфутболил меня в редакцию какого-нибудь толстого журнала. Может быть, ему была ещё внове его неслыханная популярность. Может быть, во время коротких визитов в Москву с линии фронта и из других поездок его ещё не допекали многочисленные графоманы. Не знаю. Об этом можно только гадать. Короче, Константин Михайлович сообщил мне адрес, и я понёс ему свою заветную тетрадочку. Жил Симонов в ажурном, «кружевном» доме, что напротив нынешней гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте. Там у него, по-моему, была одна комната в коммунальной квартире. Я вручил ему стихи. Мне велено было явиться через неделю.



Вот такой тип приверя
к прославленному Константину
Симонову с тетрадкой
нощесских стихотворений.

Через неделю — это была середина лета 1944 года — шёл к Симонову от метро «Белорусская». Может быть, у меня в памяти спутались два события, а может, так и было, но в тот день по Ленинградскому шоссе по направлению к центру вели нескончаемую колонну пленных немцев. А я шёл навстречу мимо небритых, оборванных, поникших, побеждённых фашистов, шёл к самому знаменитому поэту нашей страны — первому читателю моих — я в этом был уверен — замечательных стихов. Близился конец войны. Я намеревался поступать в Одесское мореходное училище. Короче, победные трубы гремели в моей душе.

Разговор со знаменитым поэтом оказался кратким. Симонов был учтив, но тратить много времени на меня почему-то не пожелал. Он призвал меня к самостоятельности, сказал, чтобы я перестал подражать другим поэтам, высказал новую для меня в то время мысль, что стихи должны быть неповторимыми и выражать личность автора. А я тогда даже не подозревал об этой истине. Заинтересованности во мне он не проявил никакой и быстро выпроводил за дверь, не забыв всучить обратно мою бесценную рукопись. Но Си-

монов был вежлив, интеллигентен и ничем не выказал недоброжелательства или пренебрежения.

Помню, что ушёл от него без малейшей обиды, без ущемлённого или оскорблённого самолюбия, хотя он не сказал о моих стихах ни одного доброго слова. И потом, несмотря на нелестный отзыв, я продолжал думать о Симонове с восхищением и ещё несколько лет очень почитал его как выдающегося стихотворца.

А эту самую тетрадку с моими рифмованными разочарованиями в жизни я подал потом во ВГИК, поступая на режиссёрский факультет. Там требовалось предъявить собственные литературные произведения. Несмотря на молодость, я понимал, что живу в очень идеологизированной стране. И сообразил, что пессимистическую лирику отдавать негоже: могу произвести неблагоприятное впечатление. Надо было подкрепить этот мрак чем-то советским, оптимистическим. И я быстренько накропал нечто патриотическое, смахивающее на стихи Константина Михайловича. И вставил в тетрадку. Во время собеседования на приёмных экзаменах мастер — а им был Григорий Михайлович Козинцев — задал мне вопрос:

— А что вы читали?

Очевидно, он спросил меня об этом потому, что я был моложе всех остальных поступающих — мне ещё не исполнилось семнадцати. Я был шокирован и даже возмущён — почувствовал в козинцевском тоне некую снисходительность.

— Я для своих лет читал много, — парировал я. — Пушкина, Лермонтова... и вообще.

— Симонова, я вижу, вы тоже читали, — усмехнулся Козинцев, показав тем самым, что ознакомился с моим поэтическим «творчеством».

— И Симонова, — не почувствовав подковырки, подтвердил я. Я не понимал тогда, что высказывание Козинцева отнюдь не являлось похвалой...

А потом прошло много лет. В середине шестидесятых годов я поселился в том же посёлке, где жил Симонов. Иногда мы встречались на улицах нашего дачного посёлка, и я здоровался с ним. Он, как воспитанный человек, отвечал. Но я не был уверен, что он знает, кому отвечает на приветствие. Я тогда не вёл телевизионных кинопанорам, и в лицо меня никто не знал. Короче, мы никогда не беседовали с Симоновым. Он сам в разговор со мной не вступал, а я навязываться не любил. А к знаменитостям относился особенно отчуждённо. Самолюбив был всегда. Очень боялся, что меня могут заподозрить в подлипальстве. Так жизнь и текла. Я снимал фильмы, а потом издал свою первую книгу «Грустное лицо комедии». И вдруг получаю письмо по почте, в конверте с маркой. Первое и последнее письмо от Константина Михайловича Симонова. На конверте мой адрес был напечатан на пишущей машинке, а само письмо написано от руки. Вот оно:

«Дорогой Эльдар Александрович, прочёл Ваше “Грустное лицо комедии”, книгу, по моему, очень хорошую, и захотелось сказать Вам то, что как-то всё не приходилось сказать, хоть мы и соседи, что я видел все Ваши фильмы (кроме “Девушки без адреса”) и люблю их, и, судя по сказанному в Вашей книге, больше люблю те из них, которые больше любите Вы. Вот, собственно, и почти всё. Кроме того, Вы делаете дело, которого я совершенно не умею делать, что, в то же время, не мешает мне чувствовать себя Вашим единомышленником в чём-то очень, особенно важном для Вас, для меня и для очень многих других людей, важном прежде всего в жизни, а затем уже и в наших профессиях.

От души желаю Вам всего самого доброго.

*Уважающий Вас
Константин Симонов
22. V. 78»*

Боже, как я был растроган! Получить похвалу от самого К. М. Симонова! От человека, с которым я, практически, не был знаком. Я никогда не бывал у него дома (кроме того давнего случая), он никогда не приходил ко мне, мы ни разу не встречались в каком-либо доме, в какой-нибудь компании. Я знал, как он дьявольски занят! Он писал книги, пьесы, делал документальные фильмы о войне и солдатах, телевизионные передачи, много помогал молодым писателям, просто людям, уйму времени отнимали разнообразные общественные обязанности. Поэт, прозаик, драматург, публицист, киносценарист, редактор — он был всегда в работе, в деле, его трудоспособность изумляла и поражала. И вот такой загруженный сверх головы человек находит время не только прочитать мою книгу, но собственноручно прислать мне тёплое, душевное письмо. Можете понять, почему я был так потрясён и взволнован.

Я тут же написал сердечное благодарственное письмо, копии которого, естественно, не сохранил. Мне как-то не пришло это в голову. Почему-то! А потом, в первом издании своей книги «Неподведённые итоги» я признательно упомянул о письме Константина Михайловича как об образце внимательного, хозяйского, заботливого отношения крупного писателя к коллегам, к судьбам нашего искусства. Я привёл этот пример как эталон доброжелательства, неравнодушия и внутренней взыскательности. В той книге я не цитировал письма К. М. Симонова, так как считал это нескромным, и привёл его полностью сейчас не для того, чтобы похвастаться. Хотя, не скрою, мне было приятно прочитать его ещё раз.

Мы так и не встретились с Константином Михайловичем. А потом он умер. Через несколько месяцев после смерти Симонова я натолкнулся в коридоре «Мосфильма» на Лазаря Ильича Лазарева. Лазарь Ильич занимал должность редактора журнала «Вопросы литературы». Писатель-фронтовик, крупнейший литературовед, умница, светлая, талантливая личность, автор замечательных книг — он был близким многолетним другом Константина Михайловича, а после его кончины входил в комиссию по литературному наследию Симонова. По-моему, даже являлся её председателем.

— Разбирал сегодня переписку Константина Михайловича и наткнулся на его письмо к Вам, — сказал Лазарев. — Приятное письмо.

— А что, Симонов снял с письма копию? — простодушно спросил я.

— Нет, копия у Вас, — усмехнулся Лазарь Ильич. — А подлинник в архиве.

— Как? Этого не может быть! Я помню письмо. Оно написано от руки, — возразил я.

— У Вас копия, сделанная на ксероксе, а оригинал я сегодня держал в руках, — настаивал Лазарев.

Придя домой, не без труда разыскал письмо К. М. Симонова.

Пощупал бумагу и убедился, что Лазарев прав. У меня был фотоснимок с письма!.. Тогда, в семьдесят восьмом, я даже не подозревал, что существует такая копировальная техника, как «ксерокс». И ничего не заподозрил.

Совершая свой замечательный бескорыстный поступок, Симонов отослал мне копию, а подлинник сразу же положил в архив.

На этот раз я был потрясён вторично! Какая же забота о вечности! Какая сосредоточенность на бессмертии! Какого же он был мнения о каждом своём шаге, если так старался сохранить его для истории! Не говорю уж о том, что он ни в грош не ставил меня!

Я даже вспотел от напряжения. Ну, в крайнем случае, оставил бы в своём архиве (ведь сохранилась бы!) копию, а адресату всё-таки отослал бы подлинник. Это было бы по-людски. Какое тщеславие! Какая мелочность! А рядом щедрость и доброта! Как неоднозначны люди! И как мы, в сущности, мало знаем о них.

P. S. Поостыв, я подумал: а может, это не сам Симонов так поступил, а его литературный секретарь, когда получила оригинал письма Константина Михайловича для отправки мне. «Пусть лучше подлинник останется в архиве писателя, а с адресата будет достаточно и копии», — подумала, может быть, секретарь К. М. Симонова. Может быть! Не знаю. Не хочется неважно думать о Константине Михайловиче, удобнее так подумать о его литературном секретаре. И, кроме того, вся эта история с копией не стоит выеденного яйца по сравнению с его поступком — посылкой мне этого письма...



У природы
нет плохой
погоды



МУЗЫКА — МОЯ СИМПАТИЯ

К сожалению, в детстве слон наступил мне на ухо. Но несмотря на полное отсутствие слуха, я всегда очень любил музыку. Ещё в младенческие лета обожал петь, громко фальшивя и терзая уши окружающих. Мама повела меня к учительнице музыки, которая должна была научить меня игре на рояле. Когда через месяц она пришла к преподавательнице, чтобы заплатить за уроки, то та сказала:

— А ваш балбес ни разу не появился!

Так не состоялась моя встреча с божественным искусством. Чего там говорить: балбес он и есть балбес!

По иронии судьбы, первыми моими игровыми фильмами оказались ревью и музыкальная комедия. Помню, как страшился первой встречи с Анатолием Лепиным, когда должен был принять или не принять его музыку к фильму «Весенние голоса». Я чувствовал себя самозванцем, мошенником, проходимцем. И когда в испуге что-то изрекал, высказывая своё мнение по поводу только что сыгранной на рояле музыкальной темы, я чувствовал: сейчас наступит разоблачение! Всем станет ясно, что король — голый, и меня со стыдом погонят прочь! К моему изумлению, этого не случилось. Более того, этого не произошло и когда я работал с другими композиторами. Как мне удавалось их провести — я не понимаю до сих пор.

И не могу удержаться от желания привести в этой книге высказывания композиторов, с которыми я сотрудничал. Эти высказывания обо мне прозвучали в своё время в телепередаче «Песни и музыка в фильмах Эльдара Рязанова».

АНАТОЛИЙ ЛЕПИН:

...Что касается музыки, Эльдар Александрович сразу сказал мне, что он не очень компетентен в этих вопросах и передаёт музыкальные бразды правления в мои руки. И нужно сказать, что у нас никогда не возникало никаких разногласий по поводу музыки в фильме.

Должен сказать, что у Эльдара Александровича очень хорошее музыкальное чутьё, он прекрасно понимал музыку, тем более что он, как я потом узнал, сам писал стихи, и он как-то очень умело направлял и «пристёгивал» композитора к творческой упряжке, заставлял композитора «бежать в ногу» вплоть до заключительного аккорда картины.

АНДРЕЙ ПЕТРОВ:

В начале работы Эльдар Александрович обычно заявляет: «В музыке я ничего не понимаю, и поэтому, какая будет музыка, в каком стиле, какие будут играть инструменты, вы решайте всё сами». И я, воодушевлённый оказанным мне большим творческим доверием, приступаю к работе. И вот когда я показываю Эльдару Александровичу музыку к новому фильму, и когда наступает время её записывать, то от утверждений, что он ничего не понимает в музыке, не остаётся и следа. Потому что Рязанов прекрасно разбирается в музыке, он её очень любит и очень тонко чувствует. И я уже знаю, что, когда ему моя музыка нравится, он начинает подпевать и во время исполнения оркестра, и во время её исполнения певцами. Иногда он от удовольствия входит в такой раж, что нам приходится призывать его к порядку, потому что он просто мешает записи музыки.

Но если ему музыка чем-то не понравится, то тут приходится волей-неволей с ним соглашаться, потому что, как правило, он бывает прав и очень тонко ощущает уязвимые места в партитуре. Я считаю Рязанова в полном смысле слова соавтором многих счастливых находок в музыкальном решении его фильмов.

МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ:

При нашей первой встрече Рязанов заявил: «Я ничего не понимаю в музыке».

Я эту фразу потом от него слышал не раз и позже понял, что это просто его любимая фраза, кокетство, с которым он начинает любую работу с композитором. На самом деле всё было по-другому, потому что он стал вмешиваться в музыкальный процесс, при этом приговаривая, что ничего не понимает в музыке, просто ежедневно и ежечасно. И даже были у нас какие-то моменты, когда мы с ним спорили и ссорились по этому поводу.

Я вообще, честно говоря, люблю, когда у меня есть возможность решить всю музыкальную ткань фильма самому, зная какую-то главную идею. Не тут-то было! Я вспоминаю, как мы вместе с ним записывали музыку к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Тут мы сталкивались с Рязановым постоянно. Главная баталия развернулась по поводу романса «Мне нравится, что вы больны не мной», который пела Алла Пугачёва — как его писать, как его решать и т. д. Очень мы ссорились. Но обаяние его столь велико, и всегда оно было столь великим для меня тоже, что никогда мы с ним до конца эти ссоры не доводили, всегда находились какие-то разумные, устраивающие обоих варианты. Я всегда вспоминаю с нежностью и теплом работу над картиной «Ирония судьбы...» Мне было работать интересно, тепло. Спорно, но хорошо. Я люблю Рязанова.

КАРЛО РУСТИКЕЛЛИ:

У меня сохранились превосходные воспоминания о сотрудничестве на фильме «Невероятные приключения итальянцев в России». Я работал с Рязановым так же, как со многими крупными режиссёрами из других стран. Это очень тонкий, чётко работающий режиссёр.

Кроме того, он хорошо разбирается в музыке. Ему недостаточно услышать приятную мелодию, соответствующую его вкусу. Он добивается глубокого проникновения в психологию своих героев. Фильм был очень трудным в музыкальном отношении, со множеством синхронных эпизодов, когда музыка должна точно следовать за изображением. Рязанову удалось всё сделать, ему удалось заставить играть даже льва, который выполнял всё, что было нужно режиссёру.

Эти единодушные мнения разных композиторов говорят лишь о том, что я несомненно талантливый обманщик, притворщик, мистификатор. Прикинуться не тем, кто ты есть на самом деле, «навесить лапшу на уши», с серьёзным видом обсуждать то, в чём некомпетентен и ни разу не попасться — это требует, конечно, особых дарований.

В общем, мне удалось прожить многие годы с репутацией человека, смыслящего в музыке, режиссёра, умеющего делать музыкальные фильмы, чуть ли не специалиста в этом деле. Мой близкий друг Гриша Горин говорил обо мне:

— Ты можешь спеть любой мотив так, что родная мама, то есть автор-композитор, его никогда не узнает...

Жизнь свела меня с замечательными музыкантами. Они обогатили не только фильмы, которые я ставил, но и мою духовную, музыкальную жизнь. Композиторы, с которыми я сотрудничал, всегда оказывались моими единомышленниками. Они — мои настоящие друзья и подлинные соавторы моих кинолент. Я уж не говорю об их человеколюбии...

Из кинофильма
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

ПЕСЕНКА КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Обо всём, что было на планете,
ты читаешь в утренней газете.
И все новости с любого континента
шлём в газету мы, корреспонденты.

Наша должность гонит нас из дома
по маршрутам новым, незнакомым,
то гостиница, купе или каюта —
нет у нас домашнего уюта.

И куда бы ни занёс нас ветер,
до всего есть дело нам на свете.
Лишь любимые порой на нас в обиде,
что так долго нас они не видят.

Мы шагали по пескам пустыни,
дрейфовали на полярной льдине,
мы встречались с облаками на Эльбрусе,
жизнь такая, в общем, в нашем вкусе.

Журналистская судьба такая —
находиться на переднем крае
и о том, что приключилось на планете,
рассказать в сегодняшней газете.

1964

Музыка Анатолия Лепина

ПЕСЕНКА О ПЕСЕНКЕ

Я умом могу понять все доводы...
Не держи меня, дай я уйду.
Песенка рождается без повода
и не может жить на поводе.

То, что я любил когда-то смолоду,
нынче за версту я обойду.
Песенка рождается без повода,
а поводья рвутся на ходу.

Зряшной жизни я хочу попробовать,
с пустяками быть накоротке.
Песенка рождается без повода,
песня не живёт на поводке.



„Служебный роман“. 1977 год. Как
Трещетко прочтала Светлана Немо-
лдова стихотворение Беллы Ахмаду-
линой:

„О мой застемчивый герой,
Ты ловко избежал позора...
Как долго я играла роль,
Не отираясь на партнера...“

***Песня из кинофильма
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»***

* * *

У природы нет плохой погоды!
Всякая погода — благодать.
Дождь ли, снег... Любое время года
надо благодарно принимать.

Отзвуки душевной непогоды,
в сердце одиночества печать
и бессонниц горестные восходы
надо благодарно принимать.

Смерть желаний, годы и невзгоды —
с каждым днём всё непосильней кладь.
Что тебе назначено природой,
надо благодарно принимать.

Смену лет, закаты и восходы,
и любви последней благодать,
как и дату своего ухода,
надо благодарно принимать.

У природы нет плохой погоды,
ход времён нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
надо, не скорбя, благословить.

Музыка Андрея Петрова

* * *

Тане и Серёже Никитиным

На пристани начертано:
«Не приставать, не чалиться!»
А волны ударяются о сваи, о причал.
Когда на сердце ветрено,
то незачем печалиться...
Нам пароход простуженный прощально прокричал.

На волнах мы качаемся
под проливными грозами —
ведь мы с тобой катаемся на лодке надувной.
Зонтом мы укрываемся,
а дождь сечёт нас розгами,
и подгоняет лодочку разбойник продувной.

Несёт нас мимо пристани,
старинной и заброшенной,
но молчаливо помнящей далёкие года,
когда с лихими свистами,
толкаясь по-хорошему,
к ней прижимались белые холёные суда.

Начертано на пристани:
«Не приставать, не чалиться!»
А в общем, очень хочется куда-нибудь пристать...
Пусть будет, что предписано,
пусть будет всё нечаянно,
нам вместе так естественно, как свойственно дышать.

Мы в белой будке скроемся,
с тобой от ливня спрячемся.
Асфальт здесь обрывается, здесь прежде был паром.
Нет никого тут кроме нас.
Дыхание горячее...
И ветер надрывается от счастья за окном.

На пирсе намалёвано:
«Не приставать, не чалиться!»
А в будке у паромщика нам, взломщикам, уют.
Здесь дело любовное,
Всё кружится, качается...
И к нам, как к этой пристани, пускай не пристаю.

Музыка Сергея Никитина

* * *

Нам снится, будто мы живые,
что притаились мы пока, —
живём в листах черновика,
а будут годы чистовые.

Поскольку что-то мы жуём,
нам кажется, что мы живём.
Мы даже ходим на работу
и, вроде, делаем чего-то.

Нам мнится, будто мы живые,
и что реальны миражи...
Но наши раны ножевые
покрыты толстым слоем лжи.

Мы, вроде, плачем и страдаем,
но лишь взаправду умираем.
И если оглянуться вслед,
то нас и не было, и нет.

Музыка Сергея Никитина

**Песня из кинофильма
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»**

* * *

Живём мы что-то без азарта,
однообразно, как в строю.
Не бойтесь бросить всё на карту
и жизнь переменить свою.

Какими были мы на старте!
Теперь не то, исчезла пруть.
Играйте на рискованной карте,
не бойтесь жизнь переломить!

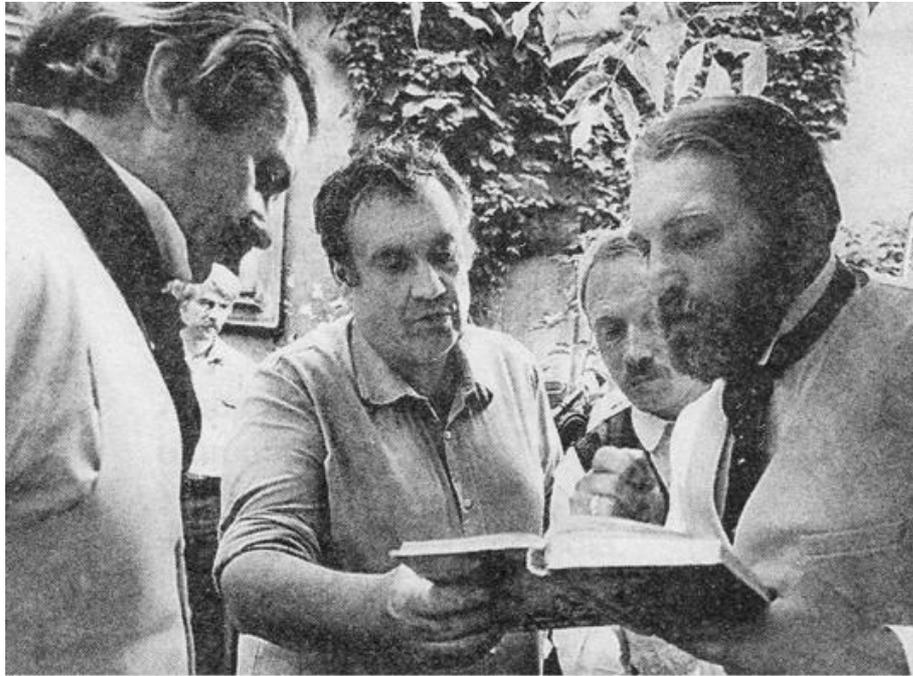
Пусть в голове мелькает проседь —
не поздно выбрать новый путь.
Не бойтесь всё на карту бросить
и прожитое — зачеркнуть!

Из дома выйдя в непогоду,
взбодрите дух, пришпорьте плоть.
Не бойтесь тасовать колоду,
пытайтесь жизнь перебороть!

В мираж и дым, в химеры — верьте!
Пожитки незачем тащить.
Ведь не уехать дальше смерти —
стремитесь жизнь перекроить.

Печалиться не надо вовсе,
когда вам нечем карту крыть...
Вы на кон бросить жизнь — не бойтесь.
Не проиграв, не победить!

Музыка Андрея Петрова



С лева - чохнатый шмель,
справа от меня Виктор
Проскурич и Алексей
Игнатов. "Жестокый романс"
1983 г.

Из кинофильма
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

РОМАНС ЛАРИСЫ

Я, словно бабочка к огню,
стремилась так неодолимо
в любовь — волшебную страну,
где назовут меня любимой,

где бесподобен день любой,
где б не страшилась я ненастья.
Прекрасная страна — любовь.
Ведь только в ней бывает счастье...

...Пришли иные времена —
тебя то нет, то лжешь не морщась.
Я поняла, любовь — страна,
где каждый человек — притворщик.

Моя беда, а не вина,
что я наивности образчик.
Любовь — обманная страна,
и каждый житель в ней — обманщик.

Зачем я плачу пред тобой
и улыбаюсь так некстати...
Неверная страна — любовь.
Там каждый человек — предатель.

Но снова прорастёт трава
сквозь все преграды и напасти.
Любовь — весенняя страна
и только в ней бывает счастье.

Музыка Андрея Петрова

* * *

Всё тороплюсь, спешу, лечу я...
Всегда я в беге нахожусь,
нехваткой времени врачую
во мне таящуюся грусть.

И всё ж не вижу в этом смысла —
жить, время вечно теребя...
Куда бы я ни торопился,
я убегаю от себя.

Ищу я новые занятия,
гоню карьером свою жизнь,
хочу её совсем загнать я...
Да от себя не убежишь!

Музыка Александра Блоха

**Песня из кинофильма
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»**

* * *

Мы не пашем, не сеем, не строим,
мы гордимся общественным строем,
мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем.
Наша служба трудна изначально,
надо знать, что желает начальник,
угадать, согласиться, не спорить
и карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага,
тут и гибкость нужна, и отвага:
свою подпись поставь иль визу,
всё равно что пройти по карнизу.
Нас не бьют за отказы, запреты,
мы, как в танках, в своих кабинетах.
Мы сгораем, когда разрешаем,
и поэтому всё запрещаем.

Нет прочнее бумажной постройки,
не страшны ей ветра перестройки.
Мы — бойцы, мы — службисты, солдаты
колоссальнейшего аппарата.
Мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем,
мы не пашем, не сеем, не строим,
мы гордимся общественным строем.

Музыка Андрея Петрова



Фильм "Привет, дуралеи!"
Три дуралея - слева Вячеслав Коку-
нин, справа - Татьяна Фурбиц, в
центре - главный дуралея.
1996 год.

***Песня из кинофильма
«ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!»***

ЛЮБОВЬ

Любовь готова всё прощать,
когда она — любовь.
Умеет беспредельно ждать,
когда она — любовь.

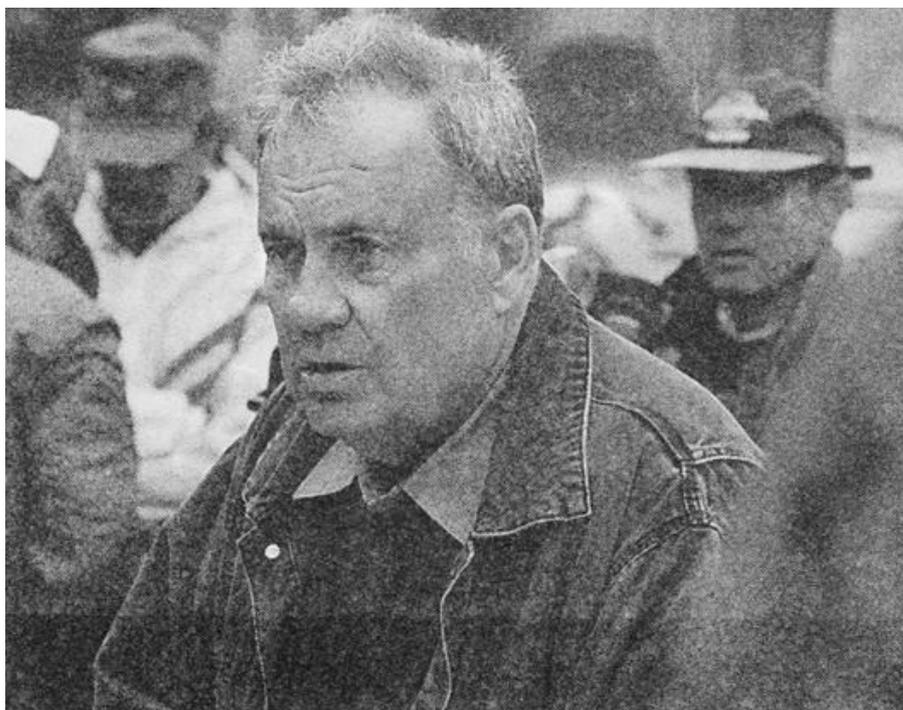
Любовь не может грешной быть,
когда она — любовь.
Её немислимо забыть,
когда она — любовь.

Она способна жизнь отдать,
когда она — любовь.
Она — спасенье, благодать,
когда она — любовь.

Полна безмерной доброты,
когда она — любовь.
Она естественна, как ты,
когда она — любовь.

*Сентябрь 1986
Боткинская осень.*

Музыка Андрея Петрова.



1996 год. На съемках фильма
"Привет, дурачек!"
Справа - кинооператор
Владимир Наумов.

* * *

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то между прочим.
Их надо вычесть из календаря,
и жизнь становится ещё короче.

Был занят бестолковой суетой,
день проскочил — я не увидел друга
и не пожал его руки живой...
Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.

А если я за день не вспомнил мать,
не позвонил любимой или брату,
то в оправданье нечего сказать.
Тот день пропал! Бесценная растрата!

Я поленился или же устал —
не посмотрел весёлого спектакля,
стихов магических не почитал
и в чём-то обделил себя, не так ли?

А если я кому-то не помог,
не сочинил ни кадра и ни строчки,
то обокрал сегодняшний итог
и сделал жизнь ещё на день короче.

Сложить — так страшно сколько промотал
на сборищах, где ни тепло, ни жарко.
А главных слов любимой не сказал
и не купил цветов или подарка.

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то между прочим.
Их надо вычесть из календаря
и мерить свою жизнь ещё короче.

Музыка Александра Блоха

Романс из кинофильма
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

МОЛИТВА

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть,
дни летят в метельной круговерти.
Жизнь — тропинка от рожденья к смерти,
смутный, скрытный, одинокий путь.
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!

Снег. И мы беседуем вдвоём,
как нам одолеть большую зиму.
Одолеть её необходимо,
чтобы вновь весной услышать гром.
Господи, спасибо, что живём!

Мы выходим вместе в снегопад.
И четыре оттиска за нами,
отпечатанные башмаками,
неотвязно следуя, следят.
Господи, как я метели рад!

Где же мои первые следы?
Занесло начальную дорогу,
заметёт остаток понемногу
милостью отзывчивой судьбы.
Господи, спасибо за подмогу!

Музыка Андрея Петрова

**Из кинофильма
«ПРЕДСКАЗАНИЕ»**

РОМАНС

Ты укрой меня снегом, зима,
так о многом хочу позабыть я
и отринуть работу ума...
Умоляю тебя об укрытьи.

Одолжи мне, зима, одолжи
чистоты и отдохновенья,
бело-синих снегов безо лжи...
Я прошу тебя об одолженье.

Подари мне, зима, подари
день беззвучный, что светит неярко,
полусон от зари до зари...
Мне не надо богаче подарка.

Поднеси мне, зима, поднеси
отрешённости и смиренья,
чтобы снёс я, что трудно снести...
Я прошу у тебя подношенья.

Ты подай мне, зима, ты подай
тишину и печаль состраданья
к моим собственным прошлым годам...
Я прошу у тебя подаянья.

Музыка Андрея Петрова.

На эти же стихи музыку написал и Александр Блох.

**Из кинофильма
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»**

* * *

Мчатся годы-непогоды
над моею головою...
Словно не была я сроду
кучерявой, молодой.

Едут дроги-недотроги,
от тебя увозят вдаль,
а покрытие у дороги —
горе, слёзы и печаль.

Эти губы-душегубы
невозможно позабыть.
Посоветуйте мне, люди,
что мне делать, как мне быть.

Словно пушки на опушке
учиняют мне расстрел.
Мокрая от слёз подушка,
сиротливая постель.

Мои руки от разлуки
упадают, точно плеть.
От проклятой этой муки
можно запросто сгореть.

Мчатся годы-непогоды
над моею головой,
словно не была я сроду
кучерявой, молодой.

Музыка Андрея Петрова

**Романс из кинофильма
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»**

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Последняя любовь, как наважденье...
Как колдовство, как порча, как дурман.
Последний шанс на страсть и обновление,
прощальный утешительный обман.

В какие годы сердце горше плачет?
Увы, конечно, на исходе дней.
Любовь — загадка... Как она дурачит.
Не хватит жизни разобраться с ней...

Последняя любовь — мятежный случай, —
судьба шальная нас с тобой свела...
Всю жизнь мы порознь были невезучи —
тебя я ждал, и ты меня ждала...

Жизнь куролесит... Наворот событий,
сжимает сердце, голова пьяна...
И множество неизвестных открытий
мне дарит обретенная страна.

Последняя любовь, как завещанье:
прозрение, прощенье и прощанье.

Музыка Андрея Петрова

**Из кинофильма
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»**

ПЕСНЯ НА СУДЕ

Если вы устали жить и страдать
и вам хочется кого-то послать —
сохраните свою гордость и статью...
И зазря не надо мать поминать.

Если денег у вас нет ни гроша,
и здоровья тоже нет ни шиша,
вы должны невзгоды стойко принять,
и зазря не надо мать поминать.

Коль напраслину на вас возведут
и притащат на неправедный суд,
вы достоинство не вправе терять
и зазря не надо мать поминать.

Вы не смейте хлюпать носом и ныть, —
на любом ветру должны устоять,
по-другому и не стоило жить.
Ведь иначе мы вас можем послать
к этой самой матери,
всем известной матери,
знаменитой матери,
очень русской матери,
с наслаждением вас можем послать!

Музыка Андрея Петрова

**Вариант песни для кинофильма
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»**

* * *

Дороже всего
то, ради чего
на свете бы стоило жить.
Неслыханный дар,
немногим он дан —
уметь беззаветно любить.

О, как хороша,
огромна душа,
что может себя подарить.
Неслыханный дар,
немногим он дан —
уметь безответно любить.

Коль в сердце пожар
и жаркий угар,
не жалко и жизнь положить.
Неслыханный дар,
немногим он дан —
уметь бесшабашно любить.

В своей доброте
возвышенны те,
кто может измену простить.
Неслыханный дар,
немногим он дан —
уметь беззащитно любить.

1999

Музыка Андрея Петрова



Мои замечательные друзья и
соавторы: композитор Андрей
Иетров и Людмила Цурченко
в аппаратной на записи песни
к «Старым клячам»
1999 год.

О ПОДЛЫХ ОБМАНАХ КОМПОЗИТОРА ПЕТРОВА

Новелла

Первый подлый обман Андрея Петрова я совершил во время работы над картиной «Служебный роман».

Среди авторов стихов в фильме «Служебный роман», известных поэтов, в титрах нескромно затесалась и моя фамилия. У меня не было никаких тщеславных намерений, и автором текста песни я стал совершенно случайно, я бы даже сказал, стихийно...

...В один из сентябрьских дней на город внезапно обрушились огромные массы преждевременного снега. Зелёные и чуть тронутые желтизной деревья покрылись белыми мокрыми снежными хлопьями. Зрелище было фантастическим, необычайно красивым: зелень под снегом. Но было тепло, и эта красота исчезла буквально на глазах. В этот день маленькая съёмочная группа во главе с оператором Владимиром Нахабцевым и мною превратилась в охотников за пейзажами. Причём надо было торопиться — снег уходил с невероятной быстротой. За полдня нам удалось нащёлкать целую серию московских видов, где мы запечатлели уникальное сочетание зимы и лета.

Показ города в его разных осенних состояниях входил в мою режиссёрскую задачу. Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты. Так что новый эпизод был просто-напросто подарком судьбы. Городские пейзажи я хотел сопровождать песнями, звучащими за кадром. Это были своеобразные авторские монологи, раскрывающие второй план произведения, обобщающие действия, подчёркивающие глубину переживаний персонажей. Песни должны были исполняться Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым. Мне показалось, что этот приём поможет зрителю понять внутренний мир и духовное богатство наших героев (так же, как и в «Иронии судьбы»). Но, в отличие от предыдущего фильма, Калугина и Новосельцев не имели права по сюжету, да и по характерам своим, петь песни в кадре. Это было бы натяжкой, насилием над образами, грубым произволом. Но эти песни могли звучать в их душах, они могли бы их петь, если бы жизнь сложилась иначе, они их смогут спеть, когда найдут друг друга.

Для остальных эпизодов картины уже были найдены стихи — Роберта Бёрнса, Николая Заболоцкого, Евгения Евтушенко. Я стал рыться в томиках любимых поэтов, разыскивая стихотворение, которое соединялось бы со снежными кадрами, но не напрямую — не иллюстрировало бы изображение, а шло бы контрапунктом. Требовалось, чтобы зрительный ряд и песня в сочетании создали новое качество, которого по отдельности не существовало ни в изображении, ни в звуковом образе. И ещё было важно, чтобы стихи соотносились с внутренним миром наших героев, с их душевным переломом. Однако найти стихотворение, которое подходило бы по смыслу, не удавалось. Я начал подумывать, не заказать ли песню какому-нибудь хорошему поэту. Но однажды в выходной зимний день, когда я гулял в подмосковном лесу, из меня внезапно, без спросу, в течение получаса буквально «вылезло» стихотворение «У природы нет плохой погоды».

Я решил проделать эксперимент. Принёс стихи на студию и сказал, что нашёл у Вильяма Блейка¹, английского поэта конца XVIII — начала XIX века, стихотворение, которое, как мне кажется, вполне может подойти к нашему «снежному эпизоду». Я понимал, что если назову подлинного автора, то есть себя, то могу поставить своих товарищей в неловкое положение. Ведь я руководитель съёмочной группы, и, может быть, им будет неудобно сказать мне горькую правду в лицо. Никто из них не заподозрил подвоха — у меня была репутация честного человека. Оператору, ассистентам, актёрам, музыкальному редактору

¹ Надо было придумать поэта как бы известного, но практически не читаемого. Тут-то мне и подвернулся Вильям Блейк.

текст понравился безоговорочно. Один лишь Андрей Мягков недовольно пробурчал, что стихи ничего, но не больше, ему хотелось бы текста повывразительнее. За отсутствие интуиции он был наказан. В следующем фильме, «Гараж», я предложил ему «немую» роль — роль человека, потерявшего голос. Надеюсь, в следующий раз он будет подогадливей...

И я послал стихотворение в Ленинград композитору Андрею Петрову, как можно убедительнее рассказав про Вильяма Блейка. А закончил письмо такой фразой: «Если Вам понравится текст, сделайте песню. А нет — будем искать другое стихотворение...» Андрей Петров тоже клюнул на мою ложь. Композитор сочинил музыку, и родилась песня «У природы нет плохой погоды...» Я не знаю, получилось ли то, чего я добивался. Не мне об этом судить. Но уверен, что, во всяком случае, не использовал своего служебного положения...



В «Хроники сурьбы» впервые в нашем кино прозвучали песни на стихи наших прекрасных поэтов: Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко...

На фото: Барбара Брыльска, Любовь Соколова и Андрей Мягков

Теперь про фильм «О бедном гусаре замолвите слово...». Конечно, после истории с песней «У природы нет плохой погоды...» Андрей Павлович стал относиться ко мне с подозрением. Когда я приносил ему какое-нибудь малоизвестное стихотворение, предлагая сочинить на него музыку, он требовал, чтобы я предъявил и книгу, где оно опубликовано. Довольно долго Андрей Павлович подозревал меня в том, что именно я сочинил стихотворение Михаила Светлова «Большая дорога» («К застенчивым девушкам, жадным и юным...»). Я отпирался как мог и заверял Петрова, что, если бы умел писать такие прекрасные стихи, давно бы бросил режиссуру. Однако композитор стоял насмерть, настаивая, что в его томике М. Светлова такого стихотворения нет. Чтобы снять с себя страшное подозрение, пришлось показать книгу, где стихотворение напечатано...

И хотя в фильме «О бедном гусаре замолвите слово...» нет песни на мои стихи, это все не означало, что я покончил со своими каверзами. Я просто-напросто усыпил бдительность своего друга и композитора. Но уже в фильме «Вокзал для двоих» я снова принялся за свои проделки. В ленте дважды звучит песня «Живём мы что-то без азарта». В первом случае её поёт ресторанный пианист Шурик (Александр Ширвиндт), а потом она звучит в страстном исполнении Людмилы Гурченко, когда герои кинокартины бегут в тюрьму. На этот раз я снова пустился по проторенной дорожке: подсунул стихотворение композитору, выдав его за сочинение замечательного поэта Давида Самойлова. Андрей Павлович поверил моему письму. Если бы я передавал текст композитору лично, возможно, и не сумел бы так убедительно соврать. Но бумага всё терпит. И потом она не краснеет. Так случился мой второй подлый обман. Но я не остановился. Если человек коварен, то это — надолго.

Подбирая стихи к «Жестокому романсу», я не смог найти поэтического текста к одному важному эпизоду и вынужден был сам заняться сочинительством. Это был, пожалуй, первый случай моей профессиональной работы как поэта-песенника. Нужно было написать стихи к определённой картине, передать конкретное настроение, да к тому же от женского лица, от имени Ларисы Огудаловой. Я написал стихотворение «Я, словно бабочка, к огню...» Композитору Андрею Петрову представил дело так, будто эти слова принадлежат нашей талантливой поэтессе Юнне Мориц. Петрову стихотворение пришлось по душе, он написал мелодию, и лишь на записи песни в тон-ателье «Мосфильма» я раскрыл своё очередное вероломство.

Повторяю, я разыгрывал эти штуки только с одной целью: не хотел поставить Андрея Павловича в трудное положение. Петров необычайно деликатный человек. И ему, если бы он знал, что автор стихотворения я, было бы крайне неловко отказать мне в случае, если бы текст ему не понравился. Трёх раз оказалось достаточно, и после этого я стал вести себя со своим музыкальным соавтором, другом, замечательным композитором в открытую. Я уже не прибегал к коварству. Так появились ещё несколько песен для кинофильмов. «Куплеты бюрократов» в «Забывтой мелодии для флейты» спел блистательный дуэт Татьяны и Сергея Никитиных. В «Небесах обетованных» в кадре романс под названием «Молитва» исполнил старый греховодник Федя, сыгранный Олегом Басилашвили, а в финале ленты, когда паровоз улетает в небо вместе с героями, звучит прекрасный голос Елены Камбуровой.

В мистическом «Предсказании» в финале поёт Александр Малинин, который мне глубоко симпатичен. А в картине «Привет, дуралеи!» Татьяна и Сергей Никитины спели нежный дуэт «Любовь». Эту песню Андрей Петров подарил мне к шестидесятилетнему юбилею, а потом она перекочевала в фильм.

В «Старых клячах» звучат три песни на мои тексты, вернее, стихи. (Булат Окуджава как-то мне сказал: «Не называй свои стихи текстами. Тексты — это совсем другое». Не скрою, мне было приятно услышать такое замечание от Булата.) Валентин Гафт произи-

тельно спел романс «Последняя любовь». А то, как ему подыграла в этом эпизоде Ирина Купченко, вызывает у меня восхищение, я преклоняюсь перед её талантом.

Кроме того, все четыре «клячи» озорно поют мою песенку насчёт того, что «не надо эту мать поминать» в сцене суда. И, наконец, «народная» песня «Мчатся годы-непогоды» блистательно исполнена Светланой Крючковой и Людмилой Гурченко в будке железнодорожного диспетчера...

В комедии «Ключ от спальни» я сумел удержаться и не втёрся в число авторов стихотворений. В Серебряном веке было полно чудесных поэтов, и я, как режиссёр, нашел всё, что мне требовалось, у Александра Блока и Игоря Северянина...

О КОМПОЗИТОРЕ САШЕ БЛОХЕ

Году, наверно, в 1986 мне позвонил незнакомый человек:

— Я композитор Александр Блох. Из Харькова, — представился он. — Написал песню на Ваши стихи и хотел бы показать её Вам.

— А где вы раздобыли текст? — полюбопытствовал я, привыкший к тому, что творческие люди не заглядывают в толстые журналы.

— В журнале «Нева», — ответил композитор, доказав своим заявлением, что я ошибаюсь, оказывается, некоторые заглядывают.

— У меня нет инструмента, — сказал я, не очень-то желая идти на контакт.

— Я принесу Вам кассету. Песню поёт Караченцов. — Фамилия прекрасного артиста прозвучала как рекомендательное письмо.

По счастью, в тот день у меня было около часа времени, которое я не успел ещё загрузить делами.

Так мы встретились. Композитору было около тридцати лет. Лицо открытое, симпатичное, интеллигентное. Мы прослушали кассету с песней, написанной на стихи «Всё тороплюсь, спешу, лечу я...» Мне понравилась музыка, которую сочинил Саша. Да и сам он, открытый, лёгкий, обаятельный. В Харькове у него была музыкальная группа, он писал музыку и песни к постановкам в харьковских театрах. Саша попросил снабдить его ещё какими-нибудь моими стихами, и я с удовольствием нагрузил его кипой журналов, редколлегии которых были нетребовательными и поэтому публиковали мои вирши: «Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Нева». Через некоторое время он снова позвонил мне из Харькова и сказал, что написал музыку ещё к трём стихотворениям. Как раз в это время фирма «Мелодия» затеяла выпуск моей первой пластинки «У природы нет плохой погоды». Вскоре из Харькова прибыла бандероль с кассетой, где сам автор исполнял песни под аккомпанемент рояля. Это были песни представителя нового поколения в музыке. Его мелодии отличали современный ритмический рисунок, нерв, некая жёсткость, свойственная современной стилистике. Я решил, что обязательно включу Сашины песни в свой диск, а он, в ожидании записи, займётся оркестровками.

Но дело тянулось неторопливо, как и любое издание в советские времена. И вдруг неожиданный звонок из Харькова. Мама Саши Гена Михайловна сказала, что прошлой ночью Саша погиб... Вместе с друзьями-музыкантами он ехал со свадьбы, где они исполняли весёлую радостную музыку. Авария. В автомобильной катастрофе погибли все. Саше было тридцать два года. Пластинку мы записывали без композитора, оркестровку сделали его друзья, пел Николай Караченцов.

Некоторое время спустя я приехал в Харьков на встречу со зрителями, привёз несколько экземпляров пластинки для Сашиной семьи. Вместе с мамой и женой Саши я побывал на кладбище, оставил на его могиле цветы.

А где-то через год семья Саши эмигрировала в Израиль. Вскоре после переезда умерла мать композитора Гена Михайловна. Его русская вдова и дети живут далеко от России. А на кладбище города, ставшего украинским, находится заброшенная могила... Спектакли, где звучала музыка Александра Блоха, постепенно ушли из репертуара харьковских театров. Так что три песни, записанные на моей пластинке, пожалуй, единственная память о талантливом, безвременно ушедшем композиторе и обаятельном человеке с доброй улыбкой. Как горько...

В СОАВТОРСТВЕ С АЛЕКСАНДРОМ ГАЛИЧЕМ

Это случилось поздней осенью 1955 года. Я только что закончил свою первую ленту, сделанную на «Мосфильме». Она называлась «Весенние голоса» — фильм-ревью о самодеятельности учащих ремесленных училищ. И после картины поехал в свой, пожалуй, первый в жизни отпуск. Проводил я его в Болшеве, недалеко от Москвы, в Доме творчества кинематографистов. Там Борис Ласкин и Владимир Поляков сочиняли для меня сценарий «Карнавальная ночь». А я был послан в Болшево директором «Мосфильма» Иваном Пырьевым, чтобы помогать авторам, консультировать их, принимать их работу и вообще быть при них. И одновременно я находился как бы в отпуске. Стоял ноябрь. Время считалось плохим для отдыха — межсезонье, — и поэтому народу в доме было всего несколько человек. В их числе и Александр Галич, который писал какой-то сценарий, сейчас уж не припомню какой. Мы были знакомы и раньше, но в те тусклые осенние дни проводили много времени вместе. Гуляли, болтали и подружились. Тогда Галич ещё не писал своих дивных песен, которые прославили его, пожалуй, больше чем пьесы и сценарии. Как-то вечером, в холл, где мы с Сашей сидели после ужина, вошёл сценарист Николай Ершов и рассказал, что полчаса назад ехал из Москвы в электричке и услышал очень хорошую песню, которую пел нищий инвалид: «Есть по Чуйскому тракту дорога...» Коля запомнил наизусть только начало песни, а дальше в памяти остался лишь сюжет. И он прочитал нам наизусть первые четыре строфы. Я никогда потом не слышал эту песню и, если в первых четырёх куплетах есть ошибки, то они именно так запечатлелись в Колиной памяти. Вот эти первые строфы:

— Есть по Чуйскому тракту дорога.
Много ездит там шоферов.
Среди них был отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирёв.

Он машину трёхтонную «АМО»
Как невесту родную любил.
Тракт до самой монгольской границы
Он на «АМЕ» своём изучил.

На «Форде» там работала Рая,
И нередко над Чуем-рекой
«Форд» зелёный и грузное «АМО»
Друг за дружкой неслися стрелой...

И признался однажды ей Коля,
Но суровая Рая была:
— Когда «АМО» «Форда» перегонит,
Тогда Раечка будет твоя.

Потом, как запомнил Ершов, случилась какая-то леденящая кровь история во время автомобильной погони тяжёлого отечественного грузовика за заграничной легковушкой. Колька Снегирёв погиб. Нам с Галичем захотелось дописать песню. Подробностей сюжета мы не ведали, нам был известен только трагический финал. Мы понимали также, что продолжение следовало сочинять в той же стилистике, что и первые куплеты. Одним словом, ситуация была не из простых. Однако, гуляя по парку Дома творчества, который от двухэтажного особняка спускался к излучине Клязьмы, мы упорно работали, слагая куплет за

куплетом. Песня получилась не короткая. Но, вроде, и в подлиннике тоже было немало строф. Когда мы закончили своё совместное творчество (оно для нашего маленького коллектива было одновременно и дебютом, и лебединой песней), мы — аккомпанировал на гитаре Александр Галич — «выступили» перед Николаем Ершовым и его женой сценаристкой Розой Буданцевой. Думаю, что никто, кроме меня, не знает этого шедевра. А я горжусь тем, что однажды был стихотворным соавтором самого Галича, который предвосхитил Окуджаву и Высоцкого. Только поэтому и привожу продолжение песни, которое, беспечно веселясь, мы дружно сочиняли. Заранее прошу извинения у тех, кто знает подлинный, оригинальный текст за несоответствия и вольности... Итак, продолжение:

Вызывает раз Колю диспетчер:
— Слушай, Коля, задание есть.
На строительство энской дороги
Нужно срочно компрессор отвезть.

Только Коля задание принял,
Как почувял, что будет беда.
Он по Чуйскому тракту поехал,
Впереди он увидел «Форда».

Вмиг он вспомнил про Раины глазки
И про губки её, как коралл.
Сдвинул кепку свою на затылок
И ногою на газ он нажал.

Занималось ясное утро...
В это утро над Чуем-рекой
«Форд» зелёный и грузное «АМО»
Друг за дружкой неслись стрелой.

Повороты, объезды, обрывы,
И тумана рассветного дым...
Свищет ветер им в окна кабины,
Мчится Коля за счастьем своим.

Вот всё ближе и ближе и ближе
Тот зелёный, заманчивый «Форд».
Ой ты, Коля, отчаянный шофер!
Для кого же ты ставишь рекорд?

И на сорок седьмом километре,
Где стоит Тамерланов утёс¹,
Грунт дорожный, дождями размытый,
Неожиданно «АМО» занёс.

И с обрыва скатилось «АМО»,
Не догнав рокового «Форда».

¹ Мы, конечно, не знали, проходила ли в тех местах монгольская конница Тамерлана, но так было более красиво и более убедительно.

Ведь недаром предчувствовал Коля,
Что сегодня случится беда.

Обернулася в ужасе Рая,
Завизжали её тормоза.
Ой ты Рая, суровая Рая,
Что с реки ты не сводишь глаза.

Ты бросаешься в волны с обрыва,
На лице твоём чёрная тень...
И напрасно на энской дороге
Поджидали компрессор в тот день.

Он доставлен был только назавтра,
Сам диспетчер доставил его.
А от бедного Коли и Раи
Не осталось почти ничего.

Только там, где утёс Тамерлана,
Слышен часто шофёрский сигнал.
Там лежит от «Форда» карбюратор
И от «АМО» помятый штурвал.

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит там шоферов.
Среди них был отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирёв

Вот, собственно, и вся история. Правда, боюсь, что несколько куплетов я всё же позабыл. Когда после долгих лет забвения Галича и проклятий в его адрес случился первый в нашей стране вечер памяти (а это было в начале перестроечных лет), я вёл ту встречу в Московском Доме Кино. И тогда я рассказал эту незатейливую историю и прочитал наше совместное стихотворное баловство.



Музыка
ЖИЗНИ



* * *

В мои годы сердечная лирика?
Ничего нет смешней и опасней.
Лучше с тонкой улыбкой сатирика
сочинять ядовитые басни.

Не давать над собой насмехаться,
тайники схоронить в неизвестность,
и о чувствах своих отмолчаться,
понимая всю их неуместность.

Иль, вернее сказать, запоздалость,
потому что всему свои даты...
Но идёт в наступленье усталость,
и всё ближе и горше утраты.

* * *

Меж датами рожденья и кончины
(а перед ними наши имена)
стоит тире, черта, стоит знак «минус»,
а в этом знаке жизнь заключена.

В ту черточку вместились всё, что было.
А было всё! И все сошло, как снег.
Исчезло, растворилось и погибло,
чем был похож и не похож на всех.

Погибло всё моё! И безвозвратно.
Моя любовь, и боль, и маета.
Всё это не воротится обратно,
лишь будет между датами черта.

МОНОЛОГ «ХУДОЖНИКА»

Прожитая жизнь — сложенье чисел:
сумма дней, недель, мгновений, лет.
Я вдруг осознал: я живописец,
вечно создающий твой портрет.

Для импровизаций и художеств
мне не нужен, в общем, черновик.
Может, кто другой не сразу сможет,
я ж эскизы делать не привык.

Я малюю на живой модели:
притушил слезой бездонный взгляд,
лёгкий штрих — глазищи потемнели,
потому что вытерпели ад.

Я прорисовал твои морщины,
в волосы добавил белизны.
Натуральный цвет люблю в картинах,
я противник басмы или хны.

Перекрасил — в горькую! — улыбку,
два мазка — и ты нехороша.
Я без красок этого добился,
без кистей и без карандаша.

Ближих раним походя, без смысла,
гасим в них глубинный тёплый свет.
Сам собою как-то получился
этот твой теперешний портрет...

ЛИСТОПАД

Как тебе я, милый, рад,
мот, кутила-листопад.
Ты, транжира, расточитель,
разбазарил, что имел.
Мой мучитель и учитель,
что ты держишь на уме?

Разноцветные банкноты
тихо по миру летят,
а деревья, как банкроты,
изумлённые торчат.
Жизнь безжалостная штука,
сложенная из утрат...
Ты прощаешься без звука,
друг мой, брат мой листопад:
отдаёшь родные листья,
ты — образчик бескорыстья.
Успокой мою натуру,
ибо нет пути назад.
Разноцветные купюры
под ногами шелестят...

Я беспечен, я — бездельник,
я гуляю наугад,
а в садах костры из денег
в небо струйками дымят.
Как тебе я, милый, рад,
листопад — мой друг и брат.

* * *

Существую в натуге,
в заколдованном круге,
тороплюсь, задыхаюсь и боюсь опоздать.
Меня кроют невежды,
покидают надежды,
но несусь!.. И не в силах я себя обуздать.

Что же это такое?
Нет на сердце покоя,
мой паршивый характер — неуёмный злодей.
Откажусь от амбиций,
надо уgomониться,
жить попроще, полегче, безо всяких затей.

Новизны ждать наивно,
как-то бесперспективно...
Я за склоны цепляюсь, я давно на весу.
Ох, хватило бы силы
сзади выдернуть шило!
На душе стало б тихо, как в осеннем лесу.

Но несу, как проклятье,
окаянный характер.
Он сильней, он — хозяин; и ворочает мной.
В суете и тревоге
я бегу по дороге,
пока сам не останусь у себя за спиной.

1985

* * *

Жизнь, к сожалению, сердита,
она не жалуется старьё.
Одни взлетают на орбиту,
другие катятся с неё.

Таков закон круговорота,
и исключений никаких:
одни уходят за ворота,
иные входят через них.

И те, кто взлезли на орбиту,
и те, кто шлёпнулся, упал,
одною, в общем, ниткой шиты...
И у разбитого корыта
у всех на всех — один финал!

Откинешь в сторону копыта,
хоть будь ты вошь, хоть будь ты вождь...
Обратные пути закрыты —
жизнь не воротить, не вернуть.

1983

* * *

Мы отпускаем тормоза...
Кругом весна, в глазах раздолье!
К нам собираются друзья,
а мы готовимся к застолью.

Да будет день — из лучших дней!
Пусть все из нас его запомнят.
Мы в гости ждём своих друзей
и открываем окна комнат.

Мы накрываем длинный стол,
сердца и двери открываем.
У нас сегодня торжество:
мы ничего не отмечаем.

По кухне, где колдуешь ты,
гуляет запах угощенья.
Бутылки жаждут пустоты,
закуски ждут уничтоженья!

И вот друзья приходят в дом,
добры их лица и прекрасны,
глаза их светятся умом,
а языки небезопасны.

А я давно хочу сказать —
и тут не ошибусь, наверно, —
что если судят по друзьям,
то мы талантливы безмерно.

Да, если мерить по друзьям,
то мы с тобой в большом порядке;
нас упрекнуть ни в чём нельзя,
нас миновали недостатки.

О, если по друзьям судить,
то человеческий род — чудесен!..
А нам наш день нельзя прожить
без пересудов, шуток, песен.

Беспечно, как дымок, клубясь,
беседа наша побежала,
и почему-то на себя
никто не тянет одеяла.

Стреляют пробки в потолок,
снуют меж нами биотоки.

Здесь совместимостей поток,
в друзьях и сила, и истоки.

Подарку-дню пришёл конец,
и гости уезжать собрались.
Незримой нежностью сердец
мы между делом обменялись.

И вот друзья умчались вдаль,
как удаляется эпоха...
Остались лёгкая печаль
и мысль, что и вдвоём — неплохо!

* * *

Я себе не выбрал для прожития
ни страну, ни время, ни народ...
Жизнь мою придумали родители,
ну, а я вот бьюсь который год.

Время оказалось неуютное,
а страна — хвастунья первый сорт,
где обманут лживыми салютами
лопоухий, пьяненький народ.

Белое там выдают за чёрное,
дважды два там восемь или шесть.
Если существует там бесспорное,
это то, что нечего там есть.

Велика страна моя огромная,
потому и будет долго гнить,
Мёртвая, чванливая и тёмная...
Только без неё мне не прожить.

Не теперь бы и не тут родиться,
да меня никто не опросил,
вот и должен я терпеть, ютиться,
хоть порой и не хватает сил.

Лишь одно меня на свете держит —
что всегда со мною рядом ты,
твоих глаз безудержная нежность,
детская улыбка доброты.

Я не выбрал время для прожития...
И меня охватывает страх,
если б не были умны родители,
мы б с тобой не встретились в веках...

Май 1983

* * *

Как много песен о любви к Отчизне!
Певцы со всех экранов и эстрад,
что, мол, для Родины не пожалеют жизни,
через динамики на всю страну кричат.

А я б о том, что глубоко интимно,
не декламировал, не пел бы, не орал.
Когда о сокровенном пишут гимны,
похоже, наживают капитал.

Земля не фразы требует, а плуга.
Как ей осточертели трепачи!
Вот мы с землёй посмотрим друг на друга
и о любви взаимной помолчим...

1986

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Теперь поют с презреньем об Отчизне
певцы со всех экранов и эстрад.
Мол, Родина — уродина — их жизни
сгубила поголовно, все подряд.

То славословили, сейчас, танцуя, хают.
О как великолепен их запал!
Неловко, если льстят и если лают,
при этом наживая капитал.

Стране своей отвесив оплеуху,
приятно безнаказанно пинать
край, где родился... И честить, как шлюху,
какая б ни была, родную мать!

1995

* * *

У жизни нашей кратки сроки.
Мы, как бумага для письма,
где время пишет свои строки
порой без чувства и ума.

Вся наша жизнь — дорога к смерти,
письмо, где тексты — ерунда.
Потом заклеят нас в конверте,
пошлют неведомо куда...
И нет постскриптума, поверьте.

1982

ДЕТСКИЕ СТИХИ О РЯЗАНОВЕ, СОЧИНЁННЫЕ ИМ ЖЕ САМИМ

Так что же такое Рязанов Эльдар?
Расскажем о нём по порядку:
Рязанов не молод, но он и не стар,
не любит он делать зарядку.

Умеет готовить салат и омлет,
гордится собой как шофёром.
В кино он работает множество лет,
и там он слывет режиссёром.

Врывается часто в чужие дома —
ему телевизор отмычка —
и любит поесть до потери ума,
а это дурная привычка.

В одежде не франт, не педант, не эстет,
как будто небрежна манера.
Он просто не может купить туалет —
увы! — не бывает размера.

Эльдар Александрович — из толстяков,
что рвутся худеть, но напрасно.
И если работа — удел дураков,
Рязанов — дурак первоклассный.

На склоне годов принялся за стихи,
себя не считая поэтом.
Имеет ещё кой-какие грехи,
но здесь неудобно об этом.

В техническом смысле он полный дебил,
в компьютерный век ему трудно.
Но так получилось: он жизнь полюбил,
и это у них обоюдно.

Представьте, Рязанов удачно женат,
с женою живёт он отлично.
Он любит друзей и хорошему рад.
И это мне в нём симпатично.

1982

* * *

В одном маленьком городе Финляндии я стоял
на углу улиц Паасикиви и Маннергейма...

Довелось мне поехать по белому свету...
Раз в соборе стоял у могильных оград.
За одной упокоилась Елизавета,
а в соседней могиле — Мария Стюарт.

Королевы соперничали, враждовали,
и одна у другой её жизнь отняла.
А потом они рядом, как сёстры, лежали,
и история Англии дальше текла.

Тут родное я вспомнил, и стало мне жарко,
я такое представил, что мысли волчком:
на углу Павла Первого и Карла Маркса
будто занял я очередь за молоком.

Въехал против движенья на площадь Хрущёва
по бульвару Высоцкого я, например.
И в районном ГАИ Александра Второго
меня долго мурыжил милиционер.

Никогда не страдал я тоской по царизму.
Не эсер, не кадет я и не монархист.
Только то, что случилось когда-то в отчизне, —
не для правок, дописок и вымарок лист.

Мы — хромые, кривые, глухие, косые,
мы — послушные дети любых перемен.
Почему же истории нет у России?
Почему у нас только текущий момент?

1983

* * *

Ржавые иголки на снегу...
Значит, ветер после снегопада
сдунул с ёлок, словно шелуху,
то, что на ветвях держалось слабо.

Мы ведь тоже держимся едва.
Пожили... Порядком проржавели.
Как на карауле, деревья
ждут последней губительной метели.

1985



Здесь интересно то, что в
детстве я был блондином.
Читать начал, когда мне
исполнилось три года

ДЕТСКИЙ РИСУНОК

Речку знобит от холода,
вздулась гусиной кожей,
серым дождём исколота,
не может унять дрожи.

В лодке парочка мокнет,
может, у них рыбалка.
Свет зажигается в окнах,
этих промокших жалко.

Возникли на лике речки
от корабля морщины.
Дым из трубы свил колечки,
корабль проехал мимо.

Речка уставилась в тучи,
небо упало в реку...
Только не стало мне лучше,
чудику-человеку.

1983

* * *

Стихи — капризная материя,
непредсказуемый предмет.
Им широко открою двери я
и жду, а их всё нет и нет.

А коль приходят, то незваными...
Тогда бросаю все дела.
Всегда так было с графоманами,
а я — ура! — из их числа.

* * *

Всё я в доме живу,
в том, который снесли и забыли;
на работу хожу,
ту, где должность мою упразднили;
от мороза дрожу,
хоть метели давно отшумели,
и по снегу брожу,
что растаял в прошедшем апреле.

1983

* * *

Почему участь горькая выпала мне?
Почему я родился в несчастной стране?
Почему беспросветно живёт мой народ?
Почему этот строй он к чертям не пошлёт?
Почему он привык к неживым словесам?
Почему он за дело не примется сам?..
У меня ещё много таких «почему»,
но ответов на них не найду, не пойму...

1985

ПАМЯТЬ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Как обычно, примчался под вечер
лёгкий северо-западный ветер.
Он принёс разговоры и запахи,
что случилось на северо-западе.
Этот бриз — мой старинный приятель,
он меня заключает в объятья,
в ухо разные тайны бормочет,
мы шушукаемся и хохочем,
ходим-бродим по берегу зăпани,
вспоминаем о северо-западе...
А потом налетают жестоко
ветры знойные с юго-востока,
и меняется всё в одночасье,
убегает мой друг восвояси.
И бреду я домой одиноко
в душных струях, что с юго-востока.
Жду, что завтра примчится под вечер
свежий северо-западный ветер.
Соткан он из прохлады и влаги,
он колышет истории флаги.
Принесёт дорогие известья,
и опять мы закружимся вместе,
перепутаем шорохи, запахи...
Моё сердце на северо-западе.

* * *

Жизнь одного уложится в строфу.
На чью-то жизнь не хватит и поэмы.
Иной по веку мчится, как тайфун,
другой медлительно смакует время.

Казалось, что я жил, как песню пел:
как строчки — дни, а годы — как баллады.
Но сколько не сделал, не успел...
Немало в прожитом смешной бравады.

Шикарна мина при плохой игре.
А жизнь-то вся в одну влезает строчку:
мол, вроде, жил... да помер в октябре... декабре... январе.
И вот и всё. И можно ставить точку.

1983

АБСТРАКТНАЯ ЖИВОПИСЬ

Я не то чтобы тоскую...
Возьму в руки карандаш,
как сумею нарисую
скромный простенький пейзаж:

под водой летают галки,
солнца ярко-чёрный цвет,
на снегу кровавом, жарком
твой прозрачный силуэт.

От луны в потоке кружев
льётся синенький мотив,
и бездонный смелый ужас
смотрит в белый негатив.

Дождь в обратном странном беге,
чей-то невидимка-след.
Тень огромная на небе
от того, чего и нет.

1980

* * *

Я в мир вбежал легко и без тревоги...
Секундных стрелок ноги, семена,
за мной гнались по жизненной дороге,
да где там! — не могли догнать меня.

Не уступал минутам длинноногим,
на равных с ними долго я бежал.
Но сбил ступни о камни и пороги,
и фору, что имел, не удержал.

Ушли вперёд ребята-скороспелки,
а я тащусь... Но всё же на ходу.
Меня обходят часовые стрелки, —
так тяжело сегодня я иду.

ПЛЯЖ В НИДЕ

Безветрие. Безверие.
Большой песчаный пляж.
Как будто всё потеряно,
и сам я, как муляж.

На вышках пограничники,
контроль и пропуска.
Поляна земляничная,
невнятная тоска.

Тела на солнце жарятся,
играют дети в мяч.
Безжалостное марево
нас душит, как палач.

Отсюда согнуть хочется —
не знаю лишь куда —
сквозь ветер одиночества...
В душе — белиберда.

Я в зыбком ожидании,
в зубах хрустит песок,
и нервно, как в рыдании,
пульсирует висок.

Безветрие... Безверие...
Густая духота...
Забывшие намеренья...
Транзистор... Теснота...

НОЯБРЬ

Иступлённо кланялись берёзы,
парусил всей кроной ржавый дуб.
Мужичонка, поутру тверёзый,
разбирал трухлявый чёрный сруб.

Три дымка курилось над селеньем.
Ветер покрутился и утих.
Вдруг явилось сладкое виденье —
возле клуба крытый грузовик.

Надпись на борту «Приём посуды»
за литровку написал маляр...
Вот пошли из всех калиток люди,
мужики и бабы, млад и стар.

В валенках, в берете на затылке
и по две авоськи на руке
пёр старик порожние бутылки
к благодетелям в грузовике.

Шёл верзила с детскою коляской,
бережно толкал перед собой;
не дитя, а разные стекляшки
голосили в ней наперебой.

Паренёк в замызганной ушанке,
явно не по детской голове,
как бурлак, волок посуду в санках
по осенней грязи и ботве.

Ёрзали и звякали бутылки
у старухи в рваной простыне.
Где-то петухи заголосили,
вороны сидели на стерне.

Тишина надмирная повсюду.
Иней под подошвами шуршал:
населенье шло сдавать посуду
истово, солидно, не спеша.

Очередь безмолвная стояла.
Всё вращалась хмурая земля.
А пустая, испитая тара
возвращалась на круги своя.

* * *

Прошедший год был мною недоволен, —
чего-то я себе напозволял.
Теперь я неугоден, недозволен...
Все говорят, в опалу я попал.

Прошедший год предал меня забвенью,
а если проще, предал он меня...
Но я не предавался огорченью, —
какие-то интриги и фигня.

От жизни оттолкнув, меня ломают.
Не в силах ухватить я новый шанс.
О мой характер ноги вытирают,
а всё ж никак не могут взять реванш.

Тот год ушёл... А новый мной доволен,
я в нимбе весь, взошла моя заря...
Но ныне болен я, что вседозволен
и помещён в листки календаря.

Потрафил, видно, я... Власть в упоенье.
Меня размножив, предала меня.
И я тону в повальном одобренье,
Которое такая же фигня.

Как время меня нынче обожает!
Лелеет, холит, мне даёт карт-бланш
и до смерти в объятиях сжимает —
берёт свой задержавшийся реванш.

1983

АПРЕЛЬ

По грязи чавкают шаги,
шуршат о твёрдый наст подошвы,
в ручьях я мою сапоги.
Земля в чащобе — крик о прошлом.

Тут прошлогодних жёлтых трав
торчат поломанные стебли,
разбросан бурых листьев прах,
и умирает снег последний.

Трухлявые сучки везде,
на лужах ржавые иголки.
И отражаются в воде
немые, сумрачные ёлки.

Жизнь представляется порой
какой-то конченной, далёкой...
Но под берёзовой корой
пульсируют живые соки.

Согрет дыханием земным,
лес оживёт без проволочки.
Как с механизмом часовым
дрожат на ветках бомбы-почки.

Где рядом почерневший снег,
продрались трав зелёных нити.
Лес замер, словно человек
перед свершением событий.

Не слышно натяженья струн.
Лес полон скрытого азарта,
как победительный бегун,
что сжат пружиной перед стартом.

Здесь бескорыстен птичий смех,
здесь всё в преддверии полёта.
Вдруг о себе напомнил век
далёким гулом самолета.

Я выпустил из рук тоску
в весенний ветер непослушный...
А по последнему ледку
скакали первые лягушки.

БЕССОННИЦА

Слышно — шебуршат под полом мыши,
сквозь окно сочится лунный свет.
Плюхнулся на землю с ёлки снег,
от мороза дом кряхтит и дышит.
Скоро рассветёт, а сна всё нет.

Извертелся за ночь на подушке,
простыни в жгуты перекрутил,
а потом постель перестелил
и лежал недвижимый и послушный,
огорчаясь ссорами светил.

Всё не спал и видел хаотичный
о себе самом престранный фильм:
я герой в нём, но герой в кавычках.
Нет сил послать к чертям привычки,
взять и отмочить нежданный финт.

Вот летаю с кем-то до рассвета...
Вижу, что безделье мне к лицу...
Вот целую руку подлецу...
Скачет фильм по рваному сюжету.
Жаль, что к несчастливому концу...

Проскрипела за окном берёза,
на полу сместился синий блик.
В пустоте безмолвен горький крик
и шумят задушенные слёзы...
Это, видно, сон меня настиг.

1985

МУЗЫКА ЖИЗНИ

Что жизнь? Музыкальная пьеса:
соната ли, fuga или месса,
сюита, ноктюрн или скерцо...
Там ритмы диктуются сердцем.
Пиликает, тренькает, шпарит,
бренчит или бывает в ударе,
играется без остановки.
Меняются лишь оркестровки...
Ребячий годы прелестны,
хрустальны, как отзвук челюсты.
Потом мы становимся старше,
ведут нас военные марши,
пьяняще стучат барабаны,
зовущие в странные страны.
Но вот увенчали нас лавры —
грохочут тарелки, литавры,
а как зажигательны скрипки
от нежной зазывной улыбки.
Кончается общее «тутти»,
не будьте столь строги, не будьте:
мелодию — дивное диво
дудим мы порою фальшиво.
Проносится музыка скоро
под взмахи судьбы — дирижёра...
Слабеют со временем уши,
напевы доносятся глуше,
оркестры играют всё тише...
Жаль, реквием я не услы...

ЛЕНИВОЕ

Я более всего
бездельничать мечтаю,
не делать ничего,
заботы отторгая.

Я лодырь и лентяй,
ужасный лежебока.
Хоть краном поднимай,
пусть подождёт работа.

Проснуться поутру,
валяться всласть, зевая.
О, как мне по нутру,
признаюсь, жизнь такая.

Бессмысленно глазеть,
на потолок уставясь!
Лень — сладкая болезнь,
что вызывает зависть.

Трудиться не люблю.
Работать не желаю.
Подобно королю,
знать ничего не знаю.

Что ж делать, я — таков!
Да только, между прочим,
работа дураков,
к несчастью, любит очень.

Она со всех сторон
всё время в наступленье.
А я немедля в сон,
я весь — сопротивленье.

Безделье — моя цель.
Я в койке, как в окопе.
Но где-то через щель
пролезли эти строки...

1985 год

Старичок-бодрячок
полон оптимизма,
энергичен, как волчок,
бегает по жизни.

Он кривой, как сморчок,
глух и шепелявит.
Старичок-бодрячок
всё кричит о славе.

Старичок-паучок —
у него команда...
Попадись на крючок —
станешь есть баланду.

Он упрям, как бычок,
сильно напирает;
старичок-бодрячок
ордена хватает.

Заиграл вдруг смычок
маршик похоронный.
Старичок наш — молчок,
сник, неугомонный.

Нет теперь дурачка,
он на катафалке.
Старичка-бодрячка
как-то даже жалко.

* * *

Не знаю. Быть может, и вправду на небе
был вытасчен мой незадачливый жребий —
родиться в стране под названьем Россия...
Судьба поступила со мной некрасиво.
И дело не в том, что печальна природа
иль свойства дурны у родного народа.
Народов других мой не хуже, не лучше,
но с ним приключился трагический случай:
словами и лозунгами взбудоражен,
народ развернулся в неистовом раже,
напился он крови, отрёкся от Бога —
и вверил судьбу подлецам — демагогам...

* * *

Жизнь скоро кончится... Меня не станет...
И я в природе вечной растворюсь.
Пока живут в тебе печаль и память,
я снова пред тобою появлюсь.
Воскресну для тебя, и не однажды:
водою, утоляющею жажду,
прохладным ветром в невозможный зной,
огнём камина ледяной зимой.
Возникну пред тобой неоднократно, —
закатным, лёгким, гаснущим лучом
иль стайей туч, бегущих в беспорядке,
лесным ручьём, журчащим ни о чём.
Поклонится с намёком и приветом
кровавая рябиновая гроздь,
луна с тобою поиграет светом,
иль простучит по кровле тёплый дождь.
Ночами бесконечными напомнит
листва, что смотрит в окна наших комнат...
Повалит наш любимый крупный снег —
ты мимолётно вспомнишь обо мне.
Потом я стану появляться реже,
скромнее надо быть, коль стал ничем.
Но вдруг любовь перед тобой забрезжит...
И тут уж я исчезну насовсем.

* * *

Хочется лёгкого, светлого, нежного,
раннего, хрупкого и пустопорожного,
и безрассудного, и безмятежного,
напрочь забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,
в небо уставить глаза завидущие
и окунуться в цветочные запахи,
и без конца обожать всё живущее.

Хочется видеть изгиб и течение
синей реки среди курчавых кустарников,
впитывать кожу солнца свечение,
в воду, как в детстве, сигать без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,
воздух глотать, словно ягоды спелые,
чтоб сумасбродно душа колобродила
и чтобы сердце несло, ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,
хоть на мгновение упасть в это дальше...
Только за всё, что промчалось, заплачено,
и остаётся расплата прощальная.

ЗИМА

Город маревом окутан,
весь обвязан и опутан
проводами белыми.
Стужа забирает круто —
всё заиндевелое.

На заснеженной коряге,
словно кляксы на бумаге,
коченеют вороны
и зрочки сквозь призмы влаги
крутят во все стороны.

Не пробиться сквозь туманы,
воздух плотный, оловянный,
атмосфера твёрдая.
Холодрыга окаянный
обжигает морды.

Мир — огромная могила.
Всё погбло, всё застыло.
Тишь! Ледовая беда!
Кажется, что эта сила
не оттаёт никогда.

Тело до костей промёрзло,
больше не согреется.
Чёрное воронье кодро
тоже не надеется.

* * *

Ветер закружился над деревней,
хищный ветер из холодной мглы...
Завздыхали бедные деревья,
закачались голые стволы.

Сокрушённо наклонялись ёлки —
шум верхушек, шелест, шорох, стон...
Словно где-то ехал поезд долгий
под какой-то затяжной уклон.

Слёзы с веток сыпались на крышу,
сучья глухо падали в траву.
Этот безутешный шёпот слышу,
с чувством сострадания живу.

12 апреля 1986

ДЕБЮТАНТУ-СТИХОТВОРЦУ БЫЛО 49 ЛЕТ...

Новелла

Я шёл по опустошённому осеннему лесу. Под ногами была затвердевшая от первого заморозка земля. Где-то сиротливо каркали невидимые вороны. Я вышел на опушку. Передо мной покатым косогором стелилось поле. Рыжая стерня, схваченная инеем, серебрилась. На горизонте темнела узкая полоска дальнего леса. Крыши деревеньки высывались из-за косогора, на котором прочно стояли могучие двухэтажные стога. Освещение было тусклое, хмурое. Серо-синие низкие облака недвижно повисли над озябшим полем. Казалось, я нахожусь не в тридцати километрах от Москвы, а за тысячи вёрст, и живу не в двадцатом веке, а лет эдак двести назад.

Свежий сухой воздух покалывал щёки, бодрил, походка была упругой, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг, сама собой, в голове возникла строчка:

У природы нет плохой погоды...

Не успел я изумиться этому явлению, как следом родилась вторая:

Каждая погода — благодать...

Если учесть, что я уже более тридцати лет, со времён давней юности, не занимался стихосложением — это было странно. Я думал, что сейчас это наваждение пройдёт, но вышло иначе. Неудержимо поползли следующие строки:

Дождь ли, снег... Любое время года
Надо благодарно принимать...

Я удивился. Честно говоря, мне показалось, что строфа недурна. И вдруг случилось необъяснимое: строчки полезли одна за другой. Не прошло и двадцати минут, как стихотворение сочинилось само, не обращая на меня никакого внимания, как бы помимо моей воли.

Я быстро повернул домой, бормоча строчки, повторяя их, так как боялся, что стихотворение забудется. Войдя в дом, я немедленно перенёс всё на бумагу.

Шёл 1976 год. Мне как раз исполнилось сорок девять. До сих пор я имел дело с сочинением в рифму (не считая той самой юношеской тетрадки), только однажды, в 1961 году, когда писал сценарий «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Но тогда нужно было написать стихи «под Гладкова», чтобы они не выбивались из текстовой ткани пьесы, и чтобы в них не было ничего самостоятельного, своего.

Например, эпизод, где Шура освобождает захваченного в плен французскими мародёрами генерала Балмашёва, посланца русского императора к фельдмаршалу Кутузову. После прыжка с дерева на крышу кареты Шура в гусарском костюме расправляется с кучером и, вскочив верхом на одну из запряженных в карету лошадей, угоняет экипаж с пленным генералом от французов. Доставив Балмашёва на околицу деревни, где размещался штаб Кутузова, она распахивает дверцу кареты.

Генерал:

Благодарю вас, храбрый мой спаситель!
Мою сердечную признательность примите.
Но как смогли вы?!

Шура (*подходит к своему коню, садится в седло*):

Всё ведь обошлось...
Здесь, в штабе, вы найдете всё, что нужно.
А мне пора... Простите! Служба...

Генерал:

Я государя адъютант, граф Балмашёв.
До скорой встречи, мой герой отважный!
Отныне я навеки ваш должник.
Но долго быть в долгу я не привык...
Да... как зовут вас?

Шура (*давая шпоры коню*):

Это, граф, неважно...

В следующий раз я потрянул стариной в 1971 году — вместе с Зиновием Гердтом мы сочинили куплеты к семидесятилетию Михаила Ромма. Это были куплеты «завистников», с мелодией, взятой напрокат у нищих, поющих в электричках, с нехитрой стилистикой, напоминающей кич. Аккомпанировал нам, кстати, Пётр Тодоровский.

К примеру:

А как поступил юбиляр с Кузьминой?
Пусть знает советский народ:
он сделал артистку своею женою!
Все делают — наоборот!
Артисты меняют любовные фразы
от переполнения чувств.
А он с Кузьминой не развёлся ни разу —
какой он работник искусств?!

Однако после этих двух выплесков наступило глухое многолетнее стихотворное безмолвие, и не было никаких признаков того, что в душе зреют какие-либо поэтические ростки. Так продолжалось до тех пор, пока не родилось стихотворение «У природы нет плохой погоды...»

Потом изредка (очень редко!) меня посещало эдакое странное состояние души, в результате чего возникали небольшие стихотворения. Как правило, грустные. Даже горькие. Я объяснял это тем, что весёлые, жизнерадостные силы я трачу в комедиях, а печаль тоже требует своего выражения, своего выхода. Может, это объяснение и не научно, но меня оно удовлетворяло.

Постепенно стихотворные «припадки» стали учащаться, и я даже завёл большую, толстенную тетрадь, куда вписывал свои поэтические зигзаги. Иногда стихи рождались почти ежедневно, иной раз пауза длилась несколько месяцев. Я стал анализировать состояние, когда меня «посещала Муза», для того, чтобы потом попытаться вызвать искусственно аналогичное настроение. Но ничего из этого не получилось, стихи приходили или не приходили только тогда, когда этого хотели именно они, а не я. Вероятно, подобное свойство — первый признак дилетантизма, любительщины. Однако, честно признаюсь, очень хотелось напечататься, так сказать, встать вровень с профессиональными поэтами. У меня уже накопилось несколько десятков стихотворений, о которых никто не подозревал. А мне очень хотелось проникнуть в толстое литературное периодическое издание! И я наконец

решился! Составил подборку стихотворений (штук эдак пятнадцать) и отнёс в журнал «Октябрь». Предстояла подлинная проверка моих поэтических данных. Меня, конечно, знали, но всё-таки не как поэта. В этом качестве я представал впервые, пришёл, в общем-то, с улицы. Как ни странно, редакция «Октября» решилась на этот рискованный шаг. Дело тянулось довольно долго. Стихи раздали всем членам редколлегии, они делали замечания, что-то выкидывали, что-то предлагали переделать. В конечном итоге было отобрано восемь стихотворений и одна эпиграмма — четверостишие. Я тут же предложил лихое название «Восемь с половиной»¹. Но в «Октябре» работали люди серьёзные, они предпочли более оригинальный заголовок. Впервые увидев экземпляр журнала, где было написано: «Эльдар Рязанов. Из лирики», я вздрогнул. Во-первых, это неординарное название стало для меня сюрпризом, а потом, так можно было, по моему мнению, назвать подборку стихов человека, который печатался неоднократно.



Первая и лучшая исполнительница
песни из «Служебного романа»
«У природы нет плохой погоды»
Замечательная Аллиса Фрейндлих

¹ Такое же название носила великая кинолента Феллини.

Итак, в десятом номере «Октября» за 1983 год состоялся мой поэтический дебют, состоялось, как я тогда думал, рождение поэта. И я начал ждать откликов. Признаться, я был избалован вниманием зрителей. После каждой киноленты, после каждой телевизионной передачи приходили и приходят сотни писем с отзывами, рецензиями, претензиями и похвалами. Чего только люди не пишут!

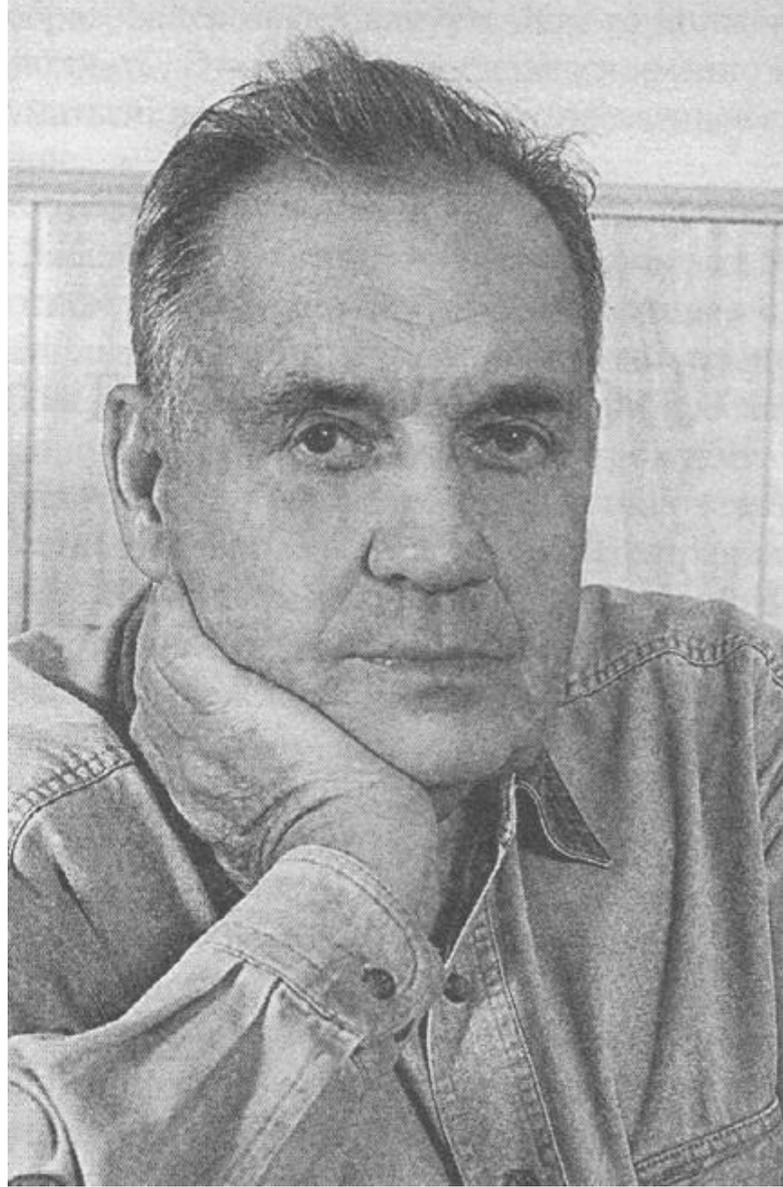
Но в данном случае царило полное молчание. Я понимал, что стихи могут не понравиться. Но тогда возникли бы негативные оценки. Не было никаких! Я не сказал ни одному человеку, включая друзей и знакомых, что теперь вроде бы являюсь профессиональным стихотворцем, меня ведь напечатали! Но надеялся, что кто-нибудь из приятелей или коллег узнает об этом самостоятельно и, в крайнем случае, хотя бы удивится. Всё-таки не каждый день кинорежиссёры публикуют собственные стихи! Не тут-то было! Конечно, неважное качество стихов могло способствовать стене безмолвия, но главный вывод, который я сделал: интеллигенция толстых журналов не читает. Я говорю не о нынешнем времени, когда никто не читает ничего, а о 1983 году. Я, честно говоря, не расстроился, ибо ставки на эту публикацию не делал никакой, ведь жил я не с этого. Ну, потешил тщеславие и доволен. Тем более, я снимал в то время «Жестокий романс», был занят, уставал смертельно. И вскоре вообще позабыл об этом случае. Но стихи порой пописывал. Тогда, когда они сами, без спросу, посещали меня...

Постепенно мои рифмованные грехи стали попадаться на глаза читателям довольно часто — публикаций в разных журналах было изрядно. И когда меня в те годы на так называемых творческих вечерах спрашивали, почему это я вдруг ударился в поэзию, я выстроил достаточно стройную теорию. «Заниматься не своим делом, — объяснял я, — добрая традиция нашей интеллигенции. Недаром Евгений Евтушенко увлёкся кинорежиссурой, а Роберт Рождественский стал вести телепередачу “Документальный экран”. Что же касается Андрея Вознесенского, то он соорудил архитектурную часть памятника (автором был скульптор Зураб Церетели), посвящённого 200-летию присоединения Грузии к России. Всем этим крупным поэтам, естественно, стало не до стихов. Они оказались заняты другими, более важными делами. И в нашей поэзии образовался некий вакуум. Кто-то должен был его заполнить. Этим “кем-то” оказался именно я. Если вдуматься, я попросту спасал отечественное стихосложение...»

...А осенью 1986 года я попал в Боткинскую больницу. Заболел. И не только в прямом смысле, но и в переносном. А именно, как бешеный, сочинял стихи. Каждый день. Иной раз и по два стихотворения на дню. Болезнь резко меняет психологию человека. Между здоровыми и больными как бы проходит некая незримая грань. Тем не менее, граница эта очень строгая, жёсткая. Здоровые этой черты, как правило, не замечают. Но больные ощущают свою ущербность и некое отторжение от остального мира. И я целиком и полностью погрузился в мир болеющих. Это не значит, что все стихотворения, написанные в больнице, были печальными. Случались и шуточные, и озорные. Но самым удивительным для меня было то, что стихотворная энергия не скудела. Я не расставался с блокнотом и авторучкой, чтобы немедленно зафиксировать на бумаге буквально наседающие, обгоняющие друг друга строчки. Когда я перешёл из Боткинской больницы в другую, откуда стал каждый день ездить на съёмки «Забытой мелодии для флейты», поэтическая лихорадка кончилась. Я собрал все стихи, написанные за сентябрь 1986 года, и назвал их весьма скромно: «Боткинская осень». Стихотворения, помеченные сентябрём 1986 года, были написаны во время болезни...



Боткинская
осень



ВПЕРВЫЕ

Всё поплыло перед глазами,
и закружился потолок.
За стенку я держусь руками,
пол ускользает из-под ног.

И вот я болен. Я — в кровати...
Беспомощность не по нутру.
Стараюсь в ночь не засыпать я,
боюсь, что не проснусь к утру.

* * *

Как будто вытекла вся кровь,
глаз не открыть, набрякли веки.
Но звать не надо докторов —
усталость это в человеке.

А за окном тухлявый дождь.
И пугало на огороде
разводит руки... Не поймёшь,
во мне так худо иль в природе.

Тоскуют на ветвях навзрыд
грачами брошенные гнёзда.
Но слышен в небе птичий крик:
вернёмся рано или поздно!

Хочу тоску преодолеть.
Надеюсь, что преодолею.
А ну-ка, смерть! Не смей! Не смей!
Не смей садиться мне на шею!

Сентябрь 1986

БОЛЬНИЦА

И я, бывало, приезжал с визитом
в обитель скорби, боли и беды
и привозил обильные корзины
цветов и книжек, фруктов и еды.

Как будто мне хотелось откупиться
за то, что я и крепок, и здоров.
Там у больных приниженные лица,
начальственны фигуры докторов.

В застиранных халатах и пижамах
смиранный и безропотный народ,
в палатах по восьми они лежали,
как экспонаты горя и невзгод.

Повсюду стоны, храп, объедки, пакость,
тяжёлый смрад давно не мытых тел.
Бодры родные — только б не заплакать...
Вот тихо дух соседа отлетел...

А из уборных било в нос зловонье,
больные в коридорах, скуден стол.
Торопится надменное здоровье,
как бы исполнив милосердья долг...

Со вздохом облегченья убегая,
я вновь включался в свой круговорот,
убогих и недужных забывая.
Но вдруг случился резкий поворот.

Я заболел. Теперь живу в больнице.
И мысль, что не умру, похоронил.
Легко среди увечных растворился,
себя к их касте присоединил.

Теперь люблю хромым, глухим, незрячих,
инфекционных, раковых — любых!
Люблю я всех — ходячих и лежачих,
отчаянную армию больных.

Терпением и кротостью лучатся
из глубины печальные глаза.
Так помогите! Люди! Сёстры! Братцы!
Никто не слышит эти голоса...

Сентябрь 1986

* * *

Вроде ссоры не было, заминки,
недовольства, склоки иль обиды.
Потихоньку разошлись тропинки, —
сам собою скрылся ты из вида.

Жили в одном доме по соседству,
каждый вечер вместе гужевались,
а потом переменял ты место,
и дорожки наши разбежались.

Я-то думал, сведены мы дружбою.
Оказалось — это география...
Так друг дружке стали мы ненужными
в нашей разобщённой биографии.

Сентябрь 1986

БОЛЬНИЧНЫЕ ЧАСТУШКИ

Хорошо тому живётся,
у кого одна нога:
и порточина не рвётся,
и не надо сапога.

Фольклор

Тот, конечно, перебьётся,
у кого одна рука, —
ведь один рукав не шьётся,
и перчатка не нужна.

Хорошо тому живётся,
у кого стеклянный глаз:
капли капать не придётся,
а сияет, как алмаз.

Если глухо одно ухо,
ты, подруга, не зуди:
стерео не надо звука,
и наушник лишь один.

Хорошо тому живётся,
если нет обеих ног —
шортами он обойдётся,
брюк не надо и сапог.

Хорошо живётся в мире,
у кого одна губа.
У него улыбка шире,
весела к нему судьба.

Замечательно живётся,
если нет обеих рук —
он жилеткой обойдётся,
Экономия вокруг!

Хорошо тому живётся,
у кого один лишь зуб:
он без мяса обойдётся,
будет есть протёртый суп.

А вот как тому живётся,
у кого одно яйцо?
Он без женщин обойдётся...
А без женщин жизнь — дрянцо!

Сентябрь 1986

* * *

О, эта неуверенность в глазах,
приниженность, готовность к нездоровью,
запрятанный в зрачках привычный страх,
что всякий раз судьба ответит болью.

Какая цепь несчастий, неудач,
болезней, слабостей, невезений
создала лики, где запрятан плач?..
В них — стыд и горечь самоунижений.

Просительны фигуры, голоса,
бездонны годы тихого страданья...
Я взгляды отвожу, а их глаза
участья просят, словно подаянья.

А после долго чувствую спиной,
что здесь постыдна самооборона.
И я иду, подстреленный виной,
и тщусь забыть... Как муторно, как скорбно!

Сентябрь 1986

* * *

Сто различных настроений
у подружки дорогой.
Словно кружит день осенний
между летом и зимой.

Рядом быть с тобой не скучно,
не дано предугадать:
вдруг лицо покроют тучи,
то оно — как благодать.

Вот летит из туч луч света,
светится в ответ душа.
Ты прекрасна в бабье лето,
невозможно хороша.

Ты щедра и бескорыстна,
будто неба синева.
Загрустила... Словно листья,
тихо падают слова.

Вспышка! Ссора! Нету мира!
Ветер вспылчивый задул,
закачалась вся квартира,
я из дома сиганул.

Предугадывать нелепо,
что нахлынет на тебя,
просто надо верить слепо
и терпеть, терпеть, любя.

Ведь предвидеть нереально:
вдруг навалится циклон,
или с нежностью печальной
ты приходишь на поклон.

Я задел тебя не очень —
пролился слезами дождь...
Просто потому что осень,
и ты сильно устаёшь.

Я, конечно, на попятный,
стал вокруг тебя кружить.
Ты нежданна и внезапна,
как природа и как жизнь.

P. S. Дом напоминает кратер
иль затишье пред грозой...

Потому что мой характер
тоже, скажем, не простой.

Как столкнутся две стихии —
вихри, смерчи и шторма!..
Лучше напишу стихи я,
чтобы не сойти с ума.

Октябрь 1986

* * *

Вроде, и друзей довольно,
вроде, многими любим.
Только, как мне стало больно,
оказался я один.

Все куда-то подевались,
разбежались кто куда.
Мы с тобой вдвоём остались,
значит, горе — не беда.

Очутился в лазарете
на больничной простыне,
и в лицо дохнуло смертью,
вроде, я уже извне.

Коль пора поставить точку,
ставь без злобы, не ропща.
Умираем в одиночку,
веселились сообща.

Сентябрь 1986

МОИ ВЕЩИ

Триптих

МОИ БОТИНКИ

Нет ничего милей и проще
протёртых, сношенных одежд.
Теперь во мне намного больше
воспоминаний, чем надежд.

Мои растоптанные туфли,
мои родные башмаки!
В вас ноги никогда не пухли,
вы были быстры и легки.

В вас бегал я довольно бойко,
быть в ногу с веком поспевал.
Сапожник обновлял набойки,
и снова я бежал, бежал.

В моём круговороте прошлом
вы мне служили как могли:
сгорали об асфальт подошвы,
крошились в лужах и в пыли.

На вас давил я тяжким весом,
вы шли дорогою потерь.
И мне знакома жизнь под прессом,
знакома прежде и теперь.

Потом замедлилась походка —
брели мы, шаркали, плелись...
Теперь нам не догнать молодку,
сошла на нет вся наша жизнь.

Вы ныне жалкие ошмётки,
и ваш хозяин подустал.
Он раньше на ходу подмётки,
но не чужие, правда, рвал.

Вы скособочены и кривы,
и безобразны, и жутки,
но, как и я, покамест живы,
хоть стёрлись напрочь каблукки.

Жаль, человека на колодку
нельзя натянуть, как башмак,
сменить набойку иль подмётку,
или подклеить кое-как.

Нет ничего милей и проще
потёртых, сношенных вещей,
и, словно старенький старьёвщик,
смотрю вперёд я без затей.

МОЯ РУБАШКА

Моя бывалая рубашка
всегда на пузе нараспашку —
ты как сестра иль верный брат;
погончики и два кармашка,
была ты модною, бедняжка,
лет эдак семь тому назад.
Была нарядной и парадной,
премьерной, кинопанорамной,
пока не сделалась расхожей,
такой привычной, словно кожа.
С тобой потели не однажды,
и мёрзли, мучились от жажды,
и мокли, и глотали пыль,
снимая вместе новый фильм.
Ты к телу ближе всех, конечно.
Но, к сожаленью, ты не вечна.
Не мыслю жизни без подружки,
тебя люблю, к тебе привык.
От стирки, глажки и утюжки
на ладан дышит воротник,
от старости расползся край,
да и манжеты с бахромой.
С тобой веду себя ужасно:
вся пища капает на грудь,
теряю пуговицы часто
и рву по шву... какая жуть!
Моя вторая оболочка!
Мне без тебя непросто жить,
а мне велят поставить точку:
лохмотья стыдно, мол, носить.
Не понимает нашей дружбы
жена, что тоже мне нужна.
Рубашек стильных мне не нужно,
моя привязанность верна.
Женой ты сослана на дачу.
В тебе ходил я по грибы.
А вот сегодня чуть не плачу
от рук безжалостной судьбы.
Конец! Разорвана на тряпки!
Тобою трут автомобиль.
А я снимаю в беспорядке
в рубашке новой новый фильм!

МОЯ ШАПКА

Воспета мной моя рубаха,
сложил я песнь про башмаки.
Готов для третьего замаха.
Чему же посвятить стихи?
Какую вещь избрать в герои:
пальто ли, свитер иль пиджак?
Решенье трудное, не скрою,
тут не поступишь абы как.
Я не богач в экипировке,
но всё ж и не из голытьбы.
А если взять трусы? Неловко...
Я опасуюсь лакировки
и, грешным делом, похвальбы.
Итак, решительно отпали
трусы невиданной красоты.
Вдруг вспомнил я, что на развале
в Венеции на Гранд Канале
купил шапчонку за гроши.
Чужая голова — потёмки,
но не для красочной шапчонки
с помпоном красным! Сильный стиль!
Кокетливая, как девчонка,
родной ты стала, как сестрёнка,
мелькала, словно флаг, на съёмках,
когда рождался новый фильм.
Жила ты у меня в кармане,
нам было вместе хорошо.
Лысели оба мы с годами,
но тут тебя я обошёл.
Познала ты мои секреты,
и помышленья, и обеты,
что удалось — не удалось,
мои вопросы и ответы,
тебе известно всё насквозь.
Ты на башке сидела ловко
с самосознанием красоты.
А сколь пуста моя головка —
про это знали я да ты...
Меня всегда ты покрывала
в обоих смыслах. В холода,
как верный друг, обогревала,
со мною ты была всегда.
Себя я чувствую моложе,
когда на кумполе помпон.
А мне твердят со всех сторон:
такое вам носить негоже,
мол, на сатира вы похожи,
а умудрён да убелён...

Но мне солидность не по нраву,
мне райской птицей не бывать.
В стандартную не вдеть оправу...
А может, нечего вдевать?
К свободе дух всегда стремился,
повиновенья не сносил...
Ужель лишь в шапке проявился
бунтарский мой, шершавый пыл?

P. S. Пора кончать стихи о шмутках,
пора переходить к делам,
забыв о худосочных шутках
и баловстве не по годам.

Сентябрь 1986

ПРОЩАНИЕ

В старинном парке корпуса больницы,
кирпичные, простые корпуса...
Как жаль, не научился я молиться,
и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,
листве погибшей скоро быть в снегу.
Я весь в разброде, не сосредоточен,
принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,
куда пойдёт и чем закончит век?
Как умирает праведно природа,
как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться...
Прощайте, запахи и голоса,
цвета и звуки, дорогие лица,
кирпичные простые корпуса.

Сентябрь 1986

* * *

Вышел я из стен больницы,
мне сказали доктора:
надо вам уgomониться,
отдыхать пришла пора.

Не годится образ жизни
тот, что прежде вы вели.
В вашем зрелом организме
хвори разные взoшли.

Мы продолжим процедуры,
капли, порошки, микстуры,
цикл вливаний и уколов,
назначаем курс иголок, —
последим амбулаторно,
чтобы вам не слечь повторно.

Мы рекомендуем также,
хоть морально тяжело,
чтоб не поднимали тяжесть
больше, чем в одно кило.

Не летайте самолётом,
плыть нельзя на корабле,
отгоняйте все заботы,
крест поставьте на руле...

Вам не надо ездить в горы,
ни на север, ни на юг,
лучше не купаться в море —
можно захлебнуться вдруг.

Очень бойтесь простужаться,
вредно кашлять и чихать.
Может кончиться ужасно,
даже страшно рассказать.

Пить теперь нельзя вам кофе,
не советуем и чай,
ведёт кофе к катастрофе,
как и чай, но невзначай.

Позабудьте про мясное,
про конфеты, про мучное,
про горчицу, уксус, соль —
только постный пресный стол.

Исключите пол прекрасный,
алкоголя ни гугу.
Вам и самому всё ясно,
эти радости — врагу!

И два слова о работе:
фильм придётся отложить
или сразу вы умрёте.
А могли б ещё пожить.

Дело в том, что в нервотрёпке —
что для вас смертельный риск —
на кого-то наорёте,
и немедля вдарит криз.

Значит, так: не волноваться,
ерундой не раздражаться,
ни за что не горячиться,
а не то опять в больницу.
Пусть всё рушится и тонет,
главное — хороший тонус!

И не нарушать запретов
никогда, ни в чём, нигде.
Коль преступите заветы,
прямо скажем, быть беде.

Интересный вышел фокус,
тут, попробуй, разбежись!..
На хрена мне этот тонус
и зачем такая жизнь?!

Сентябрь 1986

* * *

Есть тяжёлая болезнь,
нет у неё диагноза.
Протекает без болей,
но, увы, заразная.

Самый главный её знак —
крепкое здоровье.
Не подвержен ей слабак,
тут без малокровья.

Нету сжатий головных
и сердечных спазмов.
Нет и слабостей иных —
слёз или маразма.

Первоклассен организм
(лучшее давление!)
излучает оптимизм
и пищеварение.

Чем сытней набит живот,
тяжелее случаи.
Этот вирус сам растёт
от благополучия.

Крепок глаз, быстра нога и
железны нервы...
В очереди на блага
он, конечно, первый.

Тут нахрапистость важна,
пусть одна извилина.
Пусть прямая! Но она
невозможно сильная.

Есть ещё один симптом:
локоть очень острый...
Ну, а вроде в остальном
не похож на монстра.

Эпидемия страшна,
для больных удобна.
Называется она
комплексом апломба.

*Начало октября 1986
Боткинская осень*

ПОХОД В ТЕАТР

Итак, стояла очаровательная осень 1972 года. Мы с Брагинским жили в Дубултах, в писательском доме творчества, и сочиняли сценарий «Невероятных приключений итальянцев в России». В это время в Ригу приехал на гастроли Псковский театр драмы. На гостевой афише театра мы увидели название нашей пьесы «Сослуживцы». Это была приятная новость, и мы с Брагинским решили, что обязательно съездим в город, посмотрим спектакль. Почему получилось так, что мы не обратились к администрации театра, а просто купили билеты в кассе, я не помню! Несомненно, этим нашим поступком управляла рука судьбы! Неслыханно, чтобы автор покупал билеты на свою пьесу. Это просто не принято! Обычно автор приходит в дирекцию театра, называет себя, его хватают под белые ручки и усаживают на лучшее место. А после спектакля предупреждённые театральным руководством актёры начинают аплодировать, показывая на сидящего в зале сочинителя. И тот, как бы смущаясь, как бы не ожидая подобного подвоха со стороны исполнителей, выползает на сцену, жмёт руку герою, целует ручку героине, аплодирует остальному ансамблю, делая вид, что он-то, дескать, ни при чём. Мол, во всём хорошем виноваты артисты. Это в достаточной мере отработанный ритуал.

Но мы пошли на свой спектакль непроторенным путём, то есть через кассу. Я тогда не вёл Кинопанорамы, народ меня в лицо не знал и, слава Богу, пальцем не тыкал. Мы находились в театре, как говорилось ранее, инкогнито. Никто из труппы не подозревал, что авторы уже проникли в фойе. Мы купили красочную картонную программу, которую украшали шаржи на актёров, занятых в пьесе. Под каждой карикатурой были помещены стихотворные эпиграммы. К примеру, под гротесковым портретом артистки В. Ланкевич, играющей Калугину, шли такие строчки:

Я директор в учреждении,
Все работники у меня в подчинении.
И, хоть «против» есть и «за»,
Зовут все мымрой (за глаза).

Актрис М. Романову и Т. Римареву, исполняющих роль Верочки, сопровождали следующие стихи:

Я секретарша Верочка, и задаю я тон.
У Веры для проверочки к услугам телефон.
По ультрамоде Верочка одета весь сезон,
и снится, снится Верочке не телефон, а он!

Под шаржем на артиста М. Иванова, который изображал в спектакле Новосельцева, красовалось:

Я оптимист! Но робок немножко.
Два сына у меня и кошка.
Экономист решал задачу:
Как кошку прокормить
и двух детей в придачу?

В программе указывалось, что авторами стихов являются два артиста, играющие роли Новосельцева и Самохвалова, а именно, вышеупомянутый М. Иванов и Ю. Пресняков. Мы по наивности решили, что они — авторы только эпиграмм. Но, как вскоре выяснилось, мы

их недооценили. Во всяком случае, уже по одному лишь виду программки становилось ясно, что зрителя ждёт встреча с комедией, с весёлым представлением. Просочившись в зал и усевшись на свои места, мы сразу посмотрели на сцену. Как известно, занавес в современном театре давно отменили за ненадобностью, но в данном случае декорацию закрывало от глаз зрителя какое-то подобие занавеса. Над сценой висело огромное белое полотно (по-моему, были сшиты три простыни), на котором большими буквами было намалёвано четверостишие. Его мы с Брагинским, вроде бы, не писали. Привожу стишок с той своеобразной пунктуацией, которая была принята в псковском театре:

Смехом, умей убить!
Смехом, умей видеть!
Смехом, умей любить!
Смехом, умей ненавидеть!

Мы догадались, что это, вероятно, эпиграф к спектаклю, который тоже сочинён двумя артистами. В том, что они писали вдвоём, мы с Брагинским не видели ничего плохого. В конце концов, мы тоже пишем дуэтом.

Далее простыня с эпиграфом уехала наверх, и начался долгожданный спектакль. Сначала мы с Брагинским не могли понять, в чём дело. Играли, казалось, нашу пьесу. И действующие лица те же самые, которых мы сочинили. И говорили они как бы о том, о чём мы писали. Но что-то не то! Мы не сразу поняли, что артисты играли нашу пьесу «Сослуживцы», пьесу, написанную прозой, пьесу, где мы долго бились над тем, чтобы диалог звучал как можно более разговорно, — так вот артисты играли её в стихах!

Нашему изумлению не было границ! Мы переглянулись, чтобы убедиться, не галлюцинация ли это? Потом мы посмотрели на зрителей, которые, по нашим расчётам, должны были возмутиться, шикать, размахивать руками, свистеть, улюлюкать. Но нет, зрители внимательно и доброжелательно следили за артистами, ожидая, как развернутся события дальше. Они ведь не подозревали, что вирши, которые изрекали действующие лица, сочинены не нами. Более того, с нами эти стихи никто даже не согласовывал. И мы, авторы пьесы, так же, как и они, зрители, слышим их сейчас впервые. Мы находились в остолбенении! Эти два актёра проделали невероятно трудную и, с нашей точки зрения, столь же бессмысленную работу! Мы, конечно, не могли объективно судить о качестве стихов — мы были к этому совсем не готовы. И нас можно понять. Так вот, нам эти стихи крайне не понравились! Но вдруг стихотворный текст кончился, и полились знакомые нам реплики. Пьеса потекла по привычному руслу. Мы стали успокаиваться, думая, что театр придумал этакий своеобразный пролог в стихах, а дальше пойдёт всё, как у нас. Но не тут-то было! Только мы расслабились и стали оценивать игру артистов, как вдруг постановка опять вскочила на поэтическую лошадь (кажется, её звали Пегас). Актёры задекламировали в рифму. Смысл наших фраз был насильственно запихнут в стихотворный размер. Доверчивая публика сидела как ни в чём не бывало, думая, что так и положено. Захотелось вскочить, прервать спектакль, заорать, что мы этого не сочиняли. Но мы не посмели решиться на такой поступок! Мы вжались в кресла, стараясь сделаться поменьше, и покорились печальной судьбе. Спектакль шёл то в стихах, то в прозе. Шёл так, как хотел он, а не мы. Мы корчились, порывались уйти, но в конце концов взяли себя в руки и заставили себя испить горькую чашу до конца. В антракте, стоя в очереди в буфет, мы повторяли друг другу особенно полюбившиеся нам стихотворные строчки. Вроде таких:

Самохвалов:

Как заместителю мне важно для карьеры
Созданье деловой и «нужной» атмосферы,

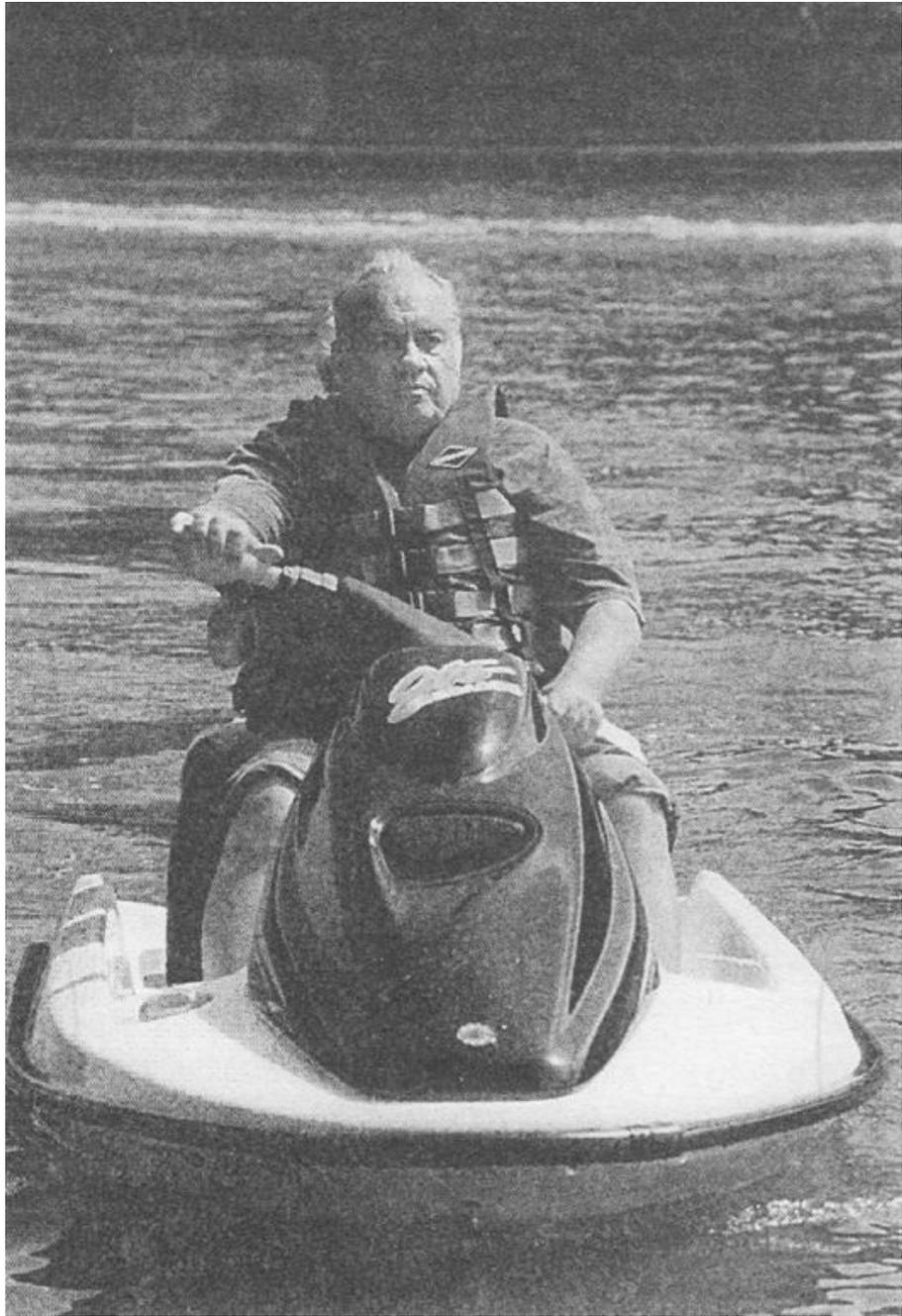
Не нужен мне оклад в 400 рублей,
Мне нужен штат лишь из «своих» людей.

Прошли мы и через все круги второго акта. Спектакль, поставленный Вениамином Вениаминовым, наконец-то, кончился. Зрители горячо аплодировали, представление явно имело у публики успех. Мы посовещались, как нам поступить. Конечно, надо было немедленно идти за кулисы, устраивать скандал и запрещать это стихотворное графоманство. Но мы подумали: вот явятся два столичных автора, будут сердиться, нервничать, кричать, топтать ножками. А что толку? Спектакль идёт уже второй сезон. Театральный Псков, вероятно, этот наш позор уже повидал. В провинциальных городах редкий спектакль держится на сцене больше двух сезонов. «Сослуживцев» всё равно скоро снимут. И это безобразие кончится само собой. А два рифмоплёта, которые, кстати, неплохо сыграли свои роли, вероятно, получают какие-то деньги за незаконное соавторство с нами. Что же это получится — мы залезем в их карман? А какие гроши получают актёры, в особенности в провинции, мы хорошо знали. Грабить артистов?! С нашей стороны это было бы нехорошо! Мы глубоко вздохнули, посмотрели друг на друга и понуро побрели к гардеробу. Мы сделали вид, что нас здесь не было, мы ничего не видели и, главное, не слышали, что мы ничего не знаем об этой своеобразной постановке.

Потом как-то я рассказал эту леденящую душу историю Зиновию Гердту. Он в ответ поведал мне, как вместе с Михаилом Львовским ездил в Тулу на премьеру их совместной пьесы «Танцы на шоссе». Пьеса была сочинена ими в стихах. Представляете ужас авторов, когда они услышали, как тульские актёры играли спектакль... в прозе. После случая с пьесой З. Гердта и М. Львовского я успокоился. Из стихов сделать прозу куда легче, чем наоборот. В нашем с Брагинским случае псковские актёры не прельстились лёгким хлебом, они пошли по пути наибольшего сопротивления...



Стих –
состояние
души



СУМЕРКИ

Сумерки — такое время суток,
краткая меж днём и ночью грань,
маленький, но ёмкий промежуток,
когда разум грустен, нежен, чуток,
и приходит тьма, куда ни глянь.

Сумерки — такое время года,
дождь долдонит, радость замерла,
и, как обнажённый нерв, природа
жаждет белоснежного прихода,
ждёт, когда укроет всё зима.

Сумерки — такое время века,
неохота поднимать глаза.
Там эпоха тащится калеккой,
человек боится человека
и, что было можно, всё нельзя.

Сумерки — такое время жизни,
что заёмным греешься огнём,
но добреешь к людям и отчизне.
При сплошной вокруг дороговизне
сам ты дешевлеешь с каждым днём...

Сумерки — такое время суток,
между жизнью и кончиной грань,
маленький, но ёмкий промежуток,
когда взгляд размыт, печален, чуток,
и приходит тьма, куда ни глянь.

1989

ФАТАЛИСТ

Уходят между пальцев дни,
за ними следом годы рвутся...
Аэродромные огни
навек сзади остаются.

Как под колёсами земля
бежит стремительно на взлёте,
так убегает жизнь моя.
Я — в заключительном полёте!

Здесь не помогут тормоза,
здесь не удастся скорость снизить,
здесь финиш оттянуть нельзя —
его возможно лишь приблизить.

Здесь не свернёшь на путь иной,
и не улепетнёшь в сторонку,
тут не заплатишь отступной,
и не отсрочишь похоронку.

Приму конец, как благодать,
как искупленье, как подарок...
Так стих случалось написать
без исправлений и помарок.

* * *

Стих — состояние души...
Попробуй это опиши.
Но описать не в состоянии
своё плохое состояние.
Коль в сердце пусто, ни души,
ты всё же рифму не души.
А если ты от жизни стих,
то сочини негромкий стих,
а о неважном настроенье —
неважное стихотворенье.

* * *

Я ничему так не бываю рад,
как появлению стихотворенья,
и принимаю это каждый раз,
как дар, как счастье, как благословенье.

Непредсказуем стихотворный взрыв,
живёшь в сплетенье мыслей, дел, поступков.
И вдруг из хаоса родившийся мотив
дробит тебя на части, как скорлупку.

Неуправляем и необъясним
порыв души — процесс стихосложенья.
Как будто кто ведёт пером твоим,
как будто это лавы изверженья.

Потом бывает долгий перерыв.
Стихов, конечно, не писал я сроду!
Какая лава там?.. Перо?.. Мотив?..
Но вдруг опять ко мне добра природа.

КУРОРТНЫЕ ПРИБАУТКИ

* * *

В краю ставриды и черешен
я, словно облако, безгрешен,
живу без мыслей, как растение,
и, может, в том моё спасение.

* * *

Гимнастика, диета... Словом,
живу стремлением одним,
что надо помереть здоровым,
что глупо помирать больным.

* * *

Вокруг коричневые люди.
И сам я бронзы многопудье!

* * *

Здесь принимают процедуры,
жуют таблетки, пьют микстуры.
Лежат на солнце кверху пузом,
шары гоняют звонко в лузы,
мужчины все холостяки
и балагуры-остряки.
Здесь хвастовство мускулатуры
и мрут упитанные дуры,
краснея лаком педикюра...
О, как их много: их — полки!
Играют марш! Все на зарядке...
И, чтоб не сдохнуть от тоски,
ныряю в море без оглядки.

* * *

Жизнь на труды истратив целую,
вдруг понял, что не для работы
рождён, для ничегонеделанья
я, словно птица для полета.

* * *

Пусть мы живём в доме чужом,
но ведь и жизнь взята в аренду.
Когда-то, молодой пижон,
вбежал я в мир, как на арену.

Запрыгал бодро по ковру,
участник яркого парада.
Мешая факты и игру,
вокруг крутилась клоунада.

Не сразу понял, что и как.
Сгорали лица, чувства, даты...
И был я сам себе батрак,
у этой жизни арендатор.

К концу подходит договор,
кончаются рассрочки, льготы.
Жизнь — неуютный кредитор,
всё время должен я по счёту.

Живу и, стало быть, плачу
неисчислимые налоги:
волнением, горем, в крик кричу,
люблю, боюсь, не сплю в тревоге.

Но всё равно не доплатил,
такая вышла незадача.
Хоть бьюсь я на пределе сил,
а в кассе вечно недостача.

Неравноправен наш контракт,
условия его кабальны,
его не выполнить никак
и жалко, что финал печальный.

И сокрушаться ни к чему...
Иным, что выйдут на арену,
вот так же жить в чужом доме —
платить, платить, платить аренду.

* * *

На могучей реке, полновластной,
с неустанным течением воды,
жили бакены — белый и красный,
охраняя суда от беды.

Корабли шли и ходко, и смело,
хоть порой и коварна река,
так как бакены — красный и белый —
путь указывали издалика.

Ночь спустилась, сгустилась опасность,
берегов не видать у реки,
но два бакена — белый и красный —
зажигают огни-маяки.

Их огни одинаково разны,
и как только пройдёт пароход,
подмигнёт другу белому красный,
белый красному другу моргнёт.

Что с того, что один из них белый,
а другой в красный выкрашен цвет:
половинки единого целого,
в них различия, в сущности, нет.

Оба служат в одном пароходстве,
оба — бакены, оба — равны.
Не ищите, пожалуйста, сходства
с биографией нашей страны.

* * *

Когда-то, в первой половине срока,
как поводырь, я вёл свою судьбу,
тащил её настырно и жестоко,
я был тогда нацелен на борьбу.

Но годы шли, и всё переменилось,
теперь кручусь как белка в колесе.
Я не заметил, как это случилось,
что я теперь такой же, как и все.

Но мне не по нутру, что я — ведомый!
Пытаюсь снова захватить штурвал,
чтоб убежать из колеи знакомой.
Да, очевидно, слаб в коленках стал.

Не стану я тащиться на буксире
и доживать послушно, как живу.
Хочу ещё покурлесить в мире...
А не смогу, так просто трос порву.

1990

МОНОЛОГ КИНОРЕЖИССЁРА

Я в своих героях растворялся,
вроде, жизнь я протопал не одну.
И, хоть сам собою оставался,
был у них заложником в плену.

Вкладывал в героев силы, соки,
странности, характеры, любовь...
Да ведь дети всякий раз жестоки,
с лёгким сердцем пили мою кровь.

Жизнь мою не длили — сокращали,
с каждым шли упрямые бои.
Мне близки их раны и печали,
словно это горести мои.

Чужаками стали персонажи,
на мои невзгоды им плевать.
Не сказали мне «спасибо» даже
и ушли куда-то кочевать.

Только и созданья мои бренны,
не было иллюзий на их счёт.
Вымысел иль созидатель бедный —
кто из них кого переживёт?

Персонажи, встретясь у могилы
автора, который их творил,
может, скажут: «Ты прости нас, милый!
Гран мерси за то, что нас родил!»

Но возможна версия иная:
всё живет убогий, дряхлый дед,
а его фантазия смешная
померла тому уж много лет.

* * *

У природы нет плохой погоды

Э. Рязанов

Когда повышенная влажность,
я проклиная свою жизнь,
я чувствую себя неважно,
меня мытарит ревматизм.

А если в атмосфере сухо,
то у меня упадок духа.
Но вот свирепствуют осадки,
и учащаются припадки.

Живу в кошмарной обстановке,
едва на ниточке держусь:
погода пляшет, как чертовка,
для организма это жуть.

Ведь перепад температуры —
погибель для моей натуры,
поскольку градусов скачки
ввергают в приступы тоски,
а смена резкая давленья
мне ухудшает настроенье.

Когда несутся тучи быстро,
безбожно голова болит,
и желчи целая канистра
во мне играет и бурлит.

А если ветер засквозит,
то тут как тут радикулит.
Иль даже воспаление лёгких.
Жизнь, прямо скажем, не из лёгких!

Зима! И снег валит, как каша,
грудь разрывает гулкий кашель,
боль в горле и течёт из носа.
А усиление жары
приводит, виноват, к поносу
и усилению хандры.

Приходит атмосферный фронт,
и сразу в сердце дискомфорт.
Но вот прекрасная погода —
так отравленье кислородом.

А если налетит вдруг смерч?
Неужто рифмовать мне «смерть»?

С такой природою ужасной
жить глупо, вредно и опасно.
И от погоды нету жизни!
А может, дело в организме?

* * *

Живём мы на износ,
хоть нас никто не просит.
Не знаю, кто из нас
скорей другого бросит.

Уйдёт в последний сон
и больше не вернётся...
Кто выиграет: он
иль та, что остаётся?

Иль станет лучше той,
что первою истаёт?
Что там, за той чертой,
пока никто не знает.

Рулетки кончен бег,
и в проигрыше оба:
и кто исчез навек,
и кто стоит у гроба.

РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ

Рабочая лошадь не пишет стихов,
не пишет, а пашет и возит.
И ей, прямо скажем, не до пустяков
в труде, и еде, и навозе.

Работа, известно, удел дураков,
и лошадь ишачит до дури,
до грыжи, до крови и до синяков,
до соли и пота на шкуре.

Рабочая лошадь — увы! — не поёт,
ну, нет музыкального слуха.
Случается, лошадь чудовищно пьёт,
в себя заливая сивуху.

Рабочая лошадь идёт на метро,
к трамваю бредёт еле-еле.
Вчерашнее пойло сжигает нутро,
глаза бы на мир не глядели.

Понурая лошадь кряхтит в поводу,
крикливый возница у всех на виду
её погоняет вожжами
и лживыми в ласке словами.
Так тащится эта коняга,
она, во всех смыслах, бедняга.

Здоровьем своим лошадиным
за жизнь заплативши сполна,
с доверчивым глазом, наивным,
проходит в оглоблях она.
Стареет, и слепнет, и глохнет,
покуда совсем не издохнет.

Рабочая лошадь не пишет стихов,
здесь нет никакого сомненья.
И ей не до песен, не до пустяков.
А эти стихи — исключенье!

* * *

Почти обшарен шар земной,
хотя не до конца изучен.
Но что мне мир, коль сам собой
я недоволен и измучен.

Не смерил всех своих глубин,
во мне немало белых пятен.
Пускай я дожил до седин,
но не во всём себе понятен.

Стараюсь жить я по уму,
заверить, что благоразумен.
Но мне-то ясно самому,
что я — увы! — непредсказуем.

У расписания в плену
я следую привычным рейсом.
Вдруг неожиданно взбрыкну —
поеду поперёк по рельсам.

Нормальный, вроде, не чудной,
и знаю правила вожденья.
Но вот я левой стороной
прусь против встречного движенья.

Корят и глядят по плечу,
чтоб поведение исправил.
Да я и сам-то не хочу
быть исключением из правил.

Я обещания даю,
я соглашаюсь, соглашаюсь:
мол, изменюсь, пойду в строю!
Но — бац! — и я опять срываюсь.

1984

* * *

Вроде бы люди умирают не сразу.
Смерть — многоточие в большом предложении.
Кажется, это — предпоследняя фаза,
когда угасают тепло и свечение.

Мы знаем, что и звёзды не сразу меркнут,
свет их доходит, но с большим опозданием.
Давно нет планеты, а луч её мерный
всё к нам пробивается сквозь мироздание.

Но после смерти лишь отдельные люди
продолжают светить, согревают приветно...
Как мало, как мало, как мало иллюзий!
Как горько, как скорбно и как беспросветно!

1986

* * *

Пора поставить всё на место,
вернуть первоначальный смысл
всем тем понятиям известным,
кои наш век перекошил.

Теперь не я кино снимаю,
меня снимает новый фильм.
Не я машиной управляю,
а мною мой автомобиль.

Меня читает эта книжка,
в меня уставился пейзаж.
Теперь не мне, а смерти крышка!
Да, да... оставьте скепсис ваш.

Еда меня вконец сжирает,
схожу на нет, судьбу кляня.
Меня и деньгам не хватает!
Короче, жизнь живёт меня.

ПОСТАРЕВШЕМУ ДРУГУ

Ну какая же это заслуга —
спрятать душу свою под замок
оттого, что ты сверзился с круга,
изнывать от тоски и недуга,
слушать, как надрывается вьюга,
упиваясь, что ты одинок.

Ну какое же это подспорье,
что ты доступ друзьям перекрыл,
что ты пестуешь горюшко-горе,
проживаешь в обиде и вздоре?
Ты, как крест на глухом косогоре,
под которым себя схоронил.

Ну какая же это отрада —
не дождавшись финала парада,
разломаться, сойти, уступить?
Годы — горе, а мысли — отрава...
Но на то и мужская отвага,
чтоб с улыбкой навек уходить.

* * *

Я, к сожаленью, в чём-то недоразвит,
возможно, даже кое в чём дебил.
Жизнь хороша в своём многообразье,
а я свою донельзя обеднил.

Я не скользил на быстрых водных лыжах,
на дельтаплане в небе не парил,
и если рассмотреть меня поближе,
то очень многих я недолюбил.

Не сумасбродствовал, не колобродил,
вокруг Европы не ходил в круиз,
не плавал я на волжском пароходе
и паруса не ставил в летний бриз.

Я отдыхал лишь для того, чтоб выжить,
набраться сил для будущих затей.
Как на курортах много разных выжиг,
как я завидовал их лёгкой пустоте!

Увы, субъект не светский, а домашний,
томлюсь среди премьерной толчеи,
и я не завсегдай вернисажный —
всё это тоже слабости мои.

Нет времени ходить по ресторанам,
хоть мне приятны шутки, болтовня.
А посидеть с друзьями над стаканом
несбыточная радость для меня.

Работа — крест, анафема, проклятье.
Она, как ржа, что разъедает сталь.
Меня угробил собственный характер...
Как я распорядился жизнью — жаль!

И это всё не поза, не кокетство,
от идиотства оторопь берёт,
я получил шикарное наследство
и промотал его наоборот...

* * *

Ты как дом с пооблезшим фасадом,
с потускневшими окнами глаз.
Неказист с новостройками рядом,
что витринно блестят напоказ.

У тебя с чердаком не всё ладно —
паутина там, рухлядь и хлам.
Стало делать уборку накладно,
а ремонт — это жуть и бедлам.

Между тем перекрытья подгнили,
кое-где отложения пыли,
коридоры, углы и чуланы
населяют — увы! — тараканы.

Поистёрлись от времени трубы,
электричество вяло горит,
и о прежних жильцах-жизнелюбах
ничего уже не говорит.

Шутки, песни, признанья и сказки
отзвучали и стёрлись следы.
Стены нынче в ободранной краске,
да и нету горячей воды.

Был неплохо построен когда-то,
много буйных годков перенёс.
Да, видать, приближается дата,
когда всех нас отправят на снос.

Мы — дома с неприглядным фасадом
и усталыми окнами глаз.
Чтоб не портить нарядность парада,
на задворки задвинули нас...

* * *

Я желал бы свергнуть злое иго
суеты, общенья, встреч и прочего.
Я коплю, как скряга и сквалыга,
редкие мгновенья одиночества.

Боже, сколько в разговорах вздора,
ни подумать, ни сосредоточиться.
Остаётся лишь одна опора —
редкие мгновенья одиночества.

Меня грабят все, кому в охоту,
мои дни по ветру раскурочены.
Я мечтаю лечь на дно окопа
в редкие мгновенья одиночества.

Непонятно, где найти спасенье?
Кто бы знал, как тишины мне хочется!
Удалось сложить стихотворенье
в редкие мгновенья одиночества.

* * *

Оцепенелая зима!
От белизны сойти с ума.
Стога под крышами из снега
под светло-серой сферой неба.

Мелькают ярких лыжниц пятна,
душа, как поле, необъятна.
Упала под уклон лыжня,
скольжение влечёт меня.

Я за тобою следом еду,
бездумно за тобой качу.
О пораженьях и победах
я помнить вовсе не хочу.

Заиндевелые деревья,
как ювелирные изделия,
где только чернь и серебро.
В природе тишина, добро,
спокойствие, благословенье...
О счастья редкие мгновенья!

АВТОПОРТРЕТ

В мозгах туман. И сам раскис.
Я существую отупело.
И непрерывен свист тоски,
и расползлось, как тесто, тело.

Ужасен мой автопортрет,
похож он на карикатуру.
Нарисовал его я сдуру,
теперь сведу его на нет:
что написалось, зачеркну
и снова внутрь себя нырну.

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

Пришла озябшая и жалкая зима
с каким-то серым и убогим снегом,
с давящим, низким, сумеречным небом
и с тусклой отупелостью ума.

Закончен труд. Ушёл он на свободу.
Покинул автора, чтоб жить сам по себе.
И ты не волен уж в его судьбе,
не в силах изменить его природу.

Так поздней осенью тяжёлые плоды,
отторгнуты ветвями, упадают...
А почерневшие усталые сады,
воздевши к небу руки, замирают.

И кажется, отныне никогда
на голых ветках не набухнут почки...
Что не взрастить на бездыханной почве
ни выдумки, ни мысли и ни строчки...
И жуть, что ты приехал в никуда.

* * *

Я, к горести своей, не знаю предков,
кто были прадед, бабушка иль дед?
Нет памяти, утрачено наследство,
потеряно в глубинах страшных лет.

Свирепый век порушил эти связи.
Инстинкт продленья рода истребил.
Хотел подняться я из грязи в князи
и потому детей не наплодил.

Жаль, внуков нет, что помнить меня будут
и кровь мою нести через года.
Я человек, пришедший ниоткуда,
и горько, что иду я в никуда.

1985

КОРОТКОМЕТРАЖКИ

* * *

Нету веры.
И нет уверенности,
лишь примеры
моей потерянности...
Хоть ты тресни
от своей ненужности.
Бег на месте —
и тот по окружности.

* * *

Сколько лет участвовал я в беге!
Спрессовалось прошлое в комок,
а теперь, когда вблизи порог,
не пора ль задуматься о небе
и осмыслить жизненный урок.

* * *

Жить с ощущениями вины
и бестолковой жизни — трудно.
Чтоб не было в душе войны,
мы загоняем боль в предсны,
туда, где мы себе подсудны...

* * *

На панихидах и поминках
проходят дни и вечера,
как тренировка иль разминка —
мол, скоро и тебе пора.

* * *

Коль без совести талант и ум,
он торгует истыми идеями.
Бывшие властителями дум
нынче стали просто прохиндеями.

* * *

Хохот без причины —
признак дурачины!
В детстве эту присказку слышал я не раз.
Без причины горесть —
тоже дурость, то есть
верный признак старости, выстрелившей в нас.

* * *

Стареют фильмы, книги и душа.
И в результате жизни — ни шиша!

* * *

Иногда обязан прессе я
тем, что у меня депрессия!

* * *

— Что делать с нашим поколеньем?
— Оно пойдёт на удобренье...

* * *

Что ни напишет — издаётся вскоре,
доволен кабинетным варевом.
Он думает — переплывает море,
на деле — окунается в аквариум.

* * *

Жизнь прожита и на исходе!
Уже косая на подходе...
Торопишься понять, подлец,
зачем же ты возник в природе?
Да нету времени. Конец!

Телеграмма Оресту Верейскому в день рождения

Без тебя, Орик,
хлеб горек,
водка сладкая,
а жизнь — гадкая.

20 июля 1984

* * *

К поэзии манила непогода...
Но на себя я не возьму греха.
Живой подстрочник, черновик природы
любого совершеннее стиха.

* * *

Он — полурусский, полужид,
полусоветский, полуконтра,
О, как ему несладко жить,
обороняясь на два фронта.

1984

* * *

Я каждую минутой дорожу:
я исключил из жизни все собрания,
симпозиумы, съезды, заседания
и приготовленных ладоней не держу
для бурного рукоплесканья.

Март 1983

ВЕТЕР

Было тихо в белом свете,
свет стал белым от зимы...
Вдруг примчался шалый ветер —
устроитель кутерьмы.

Впереди неслась позёмка
хулиганскою ордой,
а за нею ветер звонкий,
крепкий, смелый, молодой.
Ветер был озорником —
рвался нагло в каждый дом.
Он в лицо плевался колко,
он раздел от снега ёлки,
молотил метелью в окна
так, что дом стонал и охал.
Ветер был самоуверен —
дул в разнузданной манере.
Он вломился, как налётчик,
оборвал все провода.
В коридоре умер счётчик,
в кране кончилась вода.
Электричества нет в избах,
мы не смотрим телевизор,
мы живём теперь при свечке,
раздуваем жар у печки.
Ветер груб и неумерен —
выл в разнузданной манере.
Налепил кривых сугробов,
не проехать, не пройти,
на нехоженных дорогах
ни тропинки, ни пути.
Издавая хамский посвист,
скорый ветер отбыл в гости
то ль на север, то ль на юг...
А потом вернулся вдруг!
Мы и охнуть не успели,
снова заскрипели ели.
Ветер продлевал бесчинства
и чинил большие свинства,
сыпал манкою из снега
так, что потемнело небо,
вздыбил саван-покрывало,
буря гикала, плясала,
ветер гадко хохотал.
Наконец, и он устал.
Иль дебоша устыдился,
лёг в лесу, угомонился.

Взвесил свою жизнь, подумал.
И от огорченья умер.
Снова тихо в белом свете...
Только жаль, что умер ветер.

* * *

Где Камергерский встретился с Тверскою,
на том углу,
впервые ты сказала мне такое:
— Я вас люблю!

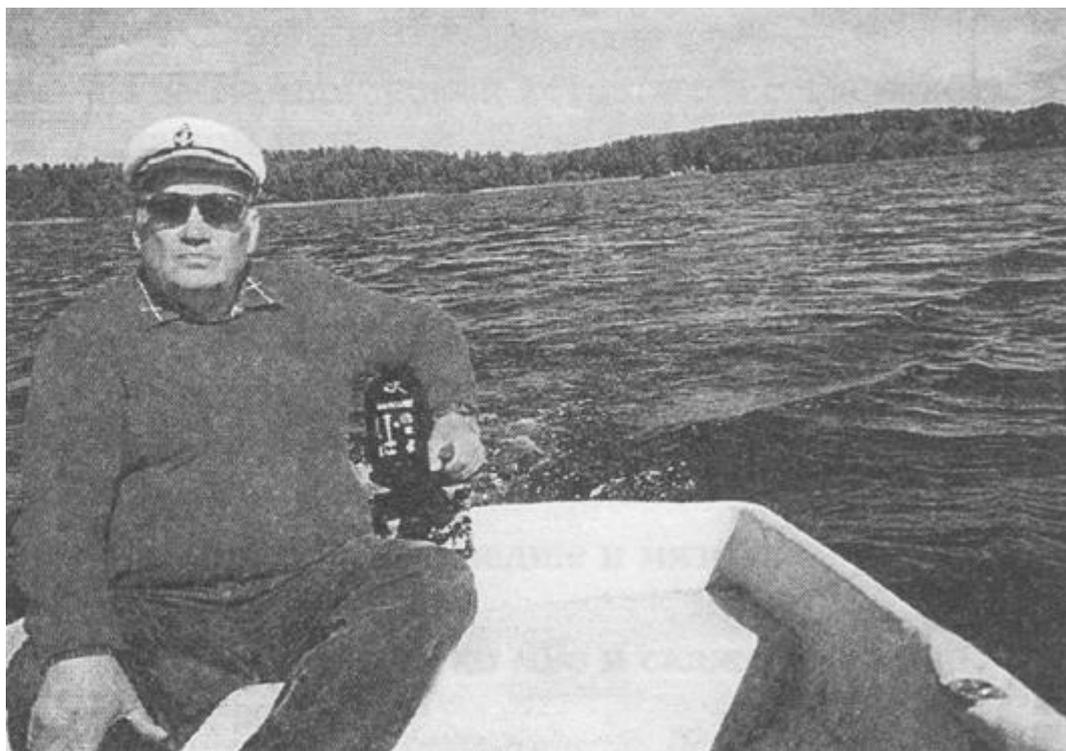
И в первый раз поцеловала
там на виду
и навсегда околдовала...
А я всё жду
покорно, сумасшедше и мятежно,
тоску тая,
когда придёшь ко мне и скажешь нежно:
— Я вся твоя!

Но не пришла и не сказала
мне на беду...
Надежда умерла, устала.
Теперь не жду...

1989



Не множу я
число
друзей



СВЕРСТНИКУ

Его взяло отчаянье и зло.
В тюрьме родился, в ней провёл всю жизнь он.
Иным везёт. Ему не повезло:
застенком для него была отчизна.

Пожизненно! Весь срок прошёл в тюрьме,
где свыкся он с суровым распорядком.
Он знал, конечно, что живёт в дерьме,
но уговаривал себя, что он в порядке.

Он жал плечом — незыблема стена!
А правила жестоки, неизменны.
Да, на таран не шёл, и в том его вина.
Порой лишь бился головой о стену.

Считал, что в каталажке и умрёт.
Но вдруг начальник новый был назначен,
пробил в стене дыру, проём, проход
и для начала всё переиначил.

Привольный мир открыла та дыра:
дорогу, речку, луг, где лошадь ржала.
В пролом рванула первой детвора
и босиком по полю побежала.

Ребята в речку прыгали визжа,
они свободу приняли как должно.
А он, привыкший к кулакам вождя,
с опаской шёл, наощупь, осторожно.

Приволье, а ему не по себе:
нет стукачей, не бьют, не держат плётку.
И он, мечтавший о такой судьбе,
вдруг захотел вернуться за решётку...

Он рад и злобен. И в конце пути
всё проклиняет и благословляет.
Тюрьма не только держит взаперти,
она к тому ж ещё и охраняет.

Гримасой жалкою его лицо свело,
фигура сгорбилась понуро и устало.
С эпохой ему не повезло —
как раз на жизнь свобода опоздала!

1989

* * *

Сон — это жизни продолженье,
но ночь — не продолженье дня.
Тут очень сложное сложенье,
замысловатое сраженье
со светом тьмы и с явью сна.

И неизвестно, где больнее,
и неизвестно, где страшнее —
в дремоте или наяву.
Но всё ж во мгле ночной слышнее,
когда на помощь я зову...

* * *

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу — кто ты! —
знакома поговорка эта с детства.
В ней столько чистоты и простоты —
иных веков наивное наследство.

Скажи мне, кто твой враг, и я — кто ты? — скажу.
Вражда врага надёжней дружбы друга.
Бесценной ненавистью вражьей дорожу.
Ведь в этом силы собственной порука.

* * *

Как пробиться к такому стиху,
чтобы он излучал обаяние,
чтобы чувства ложились в строку
без излишеств и без придыхания?

Как пробиться к обычным словам,
в их естественном, скромном значении,
сдёрнуть с них шелуху, всякий хлам...
Где набраться такого умения?

Как пробиться ещё к колдовству,
чтоб звучала строфа, как мелодия,
чтобы строчки несли красоту
и живыми остались в народе.



Нина.

* * *

Нине

Когда я просто на тебя смотрю,
то за тебя судьбу благодарю.

Когда твоя рука в моей руке,
то всё плохое где-то вдалеке.

Когда щекой к твоей я прислонюсь,
то ничего на свете не боюсь.

Когда я глажу волосы твои,
то сердце замирает от любви.

Когда гляжу в счастливые глаза,
то на моих от нежности слеза.

Как то, что чувствую, пересказать?
Ты мне жена, сестра, подруга, мать.

Не существует безупречных слов,
что могут передать мою любовь.

И оттого, что рядом ты со мной,
я — добрый, я — хороший, я — живой.

Стих этот старомоден, неказист
и слишком прост, но искренен и чист.

С улыбкой светлой на тебя смотрю,
и жизнь, что вместе мы, благодарю.

1985

ВСТРЕЧА

После ливня летний лес в испарине.
Душно. Солнце село за рекой.
Я иду, а мне навстречу парень,
он — черноволосый и худой.

Он возник внезапно из туманности
со знакомым, близким мне лицом.
Где-то с ним встречался в давней давности,
словно с другом, братом иль отцом.

Время вдруг смутилось, заколодилось,
стасовалось, как колода карт...
На меня глядела моя молодость —
это сам я сорок лет назад!

Головой кивнули одновременно,
посмотрели пристально в глаза.
Я узнал родную неуверенность...
О, как мне мешали тормоза!

На меня взирал он с тихой завистью,
с грустью я рассматривал его.
В будущем его, я знал безжалостно,
будет всё, не сбудется всего.

Он застенчив, весел, нет в нём скрытности,
пишет он наивные стихи.
Я провижу позднее развитие,
я предвижу ранние грехи.

Будут имя, книги, фильмы, женщины.
Только всё, что взял, берёшь ты в долг.
И на время... Нет нужды в оценщике —
ты пустым уходишь в эпилог.

Главное богатство — это горести,
наживаешь их из года в год!
Что имеет отношенье к совести,
из печалей и невзгод растёт.

Он в меня смотрелся, словно в зеркало,
отраженье — старая балда!
Лишь бы душу жизнь не исковеркала,
если что другое — не беда.

Слушал он, смеялся недоверчиво,
сомневался в собственной судьбе.
Прошлое и нынешнее встретились!
Или я немного не в себе?

Попрощались мы с улыбкой странною,
разошлись и обернулись вслед.
Он потом растаял за туманами
будто его не было и нет.

Только капли россыпями с дерева
шлёпаются в мокрую траву...
Мне, пожалуй, не нужна уверенность,
было ли всё это наяву.

1987

P.S. Это стихотворение натолкнуло меня на сюжет мистической повести «Предсказание», где уже поживший писатель встречается сам с собой, только молодым. А потом, в 1992 году, возник и фильм, где главные роли исполнили очаровательная французская актриса Ирен Жакоб, а также Олег Басилашвили и Андрей Соколов.

НА ОТДЫХЕ

У природы нет плохой погоды —
написал я много лет назад.
Столько я упрёков от народа
выслушал, что сам себе не рад.

Был моложе, веселей, беспечней,
не страшился я держать ответ.
Болтанёшь, как будто плюнешь в вечность,
ан обратно уж дороги нет.

Да и мне не скрыться от судьбины:
отдых! Я приехал на курорт!
Три недели страшной холодины,
дождь на нас чихал, как злющий чёрт.

Мнимый парадокс весьма опасен,
фраза прилепилась, как печать.
Я и сам с собою не согласен,
я хочу при солнце отдыхать.

Штормы, вихри, смерчи, ураганы,
зной, буран, самум и снегопад,
я скажу вам, очень не желанны.
Я беру свои слова назад!

Отрекаюсь от своей ошибки,
забираю эту песню вспять.
У природы — редкие улыбки!
Только их и надо привечать.

Жизнь идёт, сменяя цикл за циклом.
Ну, какая старость благодать?!
А меня и эту беспринципность
надо понимать и принимать.

1989



ВГИК.
Играю в операторском этюде
деревенского царенька.

1947 год

МОНОЛОГ УЧАСТНИКА МАССОВЫХ СЪЁМОК

Я снимаюсь тридцать лет в массовке,
у меня, считайте, юбилей.
Мне платили в день по трёхрублевке,
а теперь — аж по пяти рублей.

Я носил немецкие мундиры,
ватники и фраки надевал,
я бывал и красным командиром,
но за белых тоже воевал...

Чтоб подзаработать хоть немного,
я в массовку как-то заскочил.
И застрял! Вот так кинематограф
жизнь мою обжёл и погубил.

Съёмки шли. Мне было интересно.
Верил, что ещё сыграю роль.
Но судьба поставила на место:
и в кино, и в жизни — не герой!

Наваждение кончилось не скоро,
шашкой дымовой горели дни.
На меня орала режиссёры,
материли кинохолуи.

Но упрям! И не терял я веры.
Как-то раз мне дали эпизод.
Я вложил всю душу! В день премьеры
в Дом кино влез через чёрный ход.

Этот вечер помню и поныне,
мелочей не стёрли и года...
Эпизода не было в помине,
вырезан был кем-то навсегда.

Продолжал мелькать я на экране,
и потел, и мёрз, и хлопотал,
но всегда я был на заднем плане,
на передовую не попал.

Чередую шли кинокартины.
В вечном ожиданье перемен
я прожил средь слёз из глицерина,
бутафорских стен, актёрских сцен.

Оптимизм растаял, словно свечка.
Безнадёга. Нищета. И злость.
Не сказал я в кадре ни словечка.
И за кадром тоже не пришлось.

Я — никто! Статист я из массовки.
Кинозвёзд снимаю я тайком
и за фото их беру рубливки,
чтоб не слыть уж полным дураком.

Больше мне надеяться не стоит,
что осталось, надо доиграть.
Жизнь моя снята на целлулоид,
только там её не отыскать.

Ну и пусть! Бухгалтер из конторы
тоже для меня не идеал.
Если мне предложат жизнь повторно,
я б на жизнь его не променял.

1987

* * *

Воспоминанья зыбки, хрупки...
Их память прячет, хороня.
Теперь живут мои поступки
отдельной жизнью от меня.

Всех дел своих уж не припомню,
они — давно, они — везде.
И, словно брошенные комья,
круги пускают по воде.

Они меняют цепь событий,
рождают действия других...
Пусть за зазнайство жёсткий критик
не посчитает слов моих.

Но чью-то участь чуть иначе
закрутит... Только чью и где?
И даст ли это «чуть» удачу?
Кого-то приведёт к беде?

В неведомом далёком крае
кому-то горе причиню...
И не узнаю, не узнаю, —
какое, где и почему?

Бывал я смелым и несмелым,
добро вершил и нагрешил.
Случалось, лучшим было дело,
которое не совершил.

Теперь тем хвастаюсь, тем каюсь,
что учинил, в чём устоял.
Хоть я и не за всё ручаюсь, —
нарочно зла не учинял.

Да, обошлось не без уступок...
В душе немало ссадин, ран.
Пусть каждый прошлый мой поступок
летит в меня, как бумеранг.

1986

* * *

Не множу я число друзей,
поменьше стало их с годами.
Пусть мало, тем они верней,
есть связь незримая меж нами.

Зато растёт число врагов,
их умножать — владею даром.
Я будоражу вражью кровь
и, стало быть, живу не даром.

1987



Толстый
и тонкая



НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МЮЗИКЛ

Обычно заявки на сценарий, пьесы и т. д. не публикуют, ибо они в определённом смысле полуфабрикат. Но в данном случае я решил нарушить правило, так как это объяснит появление некоторых моих стихотворений...

После комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» кинематографисты Италии обратились ко мне с предложением: сочинить ещё какой-нибудь весёлый сценарий для совместного производства. Это было году эдак в 77 – 78-м. Я вспомнил свои неоднократные муки в клинике лечебного питания и сочинил сюжет новой комедии под названием «Толстый и Тонкая». Я намеревался занять в ней свою любимую артистку Людмилу Гурченко и замечательного Альберто Сорди, с которым подружился в Италии.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКАЯ

*Заявка на комедийный сценарий
для совместного производства СССР — Италия*

Живёт в Италии толстяк. В прошлом знаменитый футболист. Но бросил заниматься спортом и растолстел. Ныне он — комментатор телевидения, выступающий с еженедельными популярными обозрениями. Одним словом, человек в Италии весьма известный. Несмотря на то что ему под пятьдесят (представим себе в этой роли Альберто Сорди), он собрался жениться на молоденькой, довольно богатой барышне, в которой удачно сочетаются красота и состояние. Однако невеста поставила ему жёсткое условие — похудеть на двадцать килограммов, иначе она замуж за него не пойдёт. Более того, для наглядности она взяла фотографию жениха, снятую анфас, и прямо на его лице фломастером очертила контур, как бы рамку, в которую должна уместиться его физиономия после похудения. Характерец у невесты был крутой, что подкреплялось солидными капиталами. Нашему комментатору оставалось одно — сократиться в объёме. Но как? Где? С чьей помощью? Наш герой отличается замечательным, отменным аппетитом. Пребывание в специальных клиниках, где его заставляли худеть — и в итальянской, и в швейцарской, — не помогло. Он никак не может преодолеть «возбуждённого отношения к пище, или пантагрюэлизма» — так по-научному называется его болезнь.

В это самое время в телевизионной программе, которую он ведёт, попадаетеся документальный репортаж, рассказывающий о поразительных успехах в области сбрасывания веса. Репортаж снят в одной из московских клиник. На экране была показана женщина, которую лечение уменьшило вдвое, а именно со ста сорока килограммов до семидесяти. Больница называется «Клиника лечебного недоедания» (на самом деле в Москве нет клиники с таким названием). Эта документальная съёмка производит сильное впечатление на толстого телекомментатора. Он даже сбивается и проваливает следующую страничку своего обозрения.

Чего не сделаешь ради молоденькой и богатой?! И наш герой намеревается использовать последний шанс — испытать на себе достижения российской медицины.

А в Москве — в той самой клинике — готовятся к приёму итальянского пациента. В палату вносят цветной телевизор, устанавливают телефонный аппарат. Лечение итальянца поручают докторше — талантливому медику, которая пишет кандидатскую диссертацию на тему «Борьба с раздражительностью больных во время процесса похудения». Учёная крайне недовольна, что ей навязывают больного, когда ей необходимо время для завершения диссертации...

И вот итальянский комментатор вселяется в отдельную палату. Происходит первое знакомство героев нашей комедии. Бурный, экспансивный итальянец, избалованный успехом и популярностью, сразу же начинает недвусмысленное ухаживание за миловидной русской докторшей (представим себе в этой роли Людмилу Гурченко). Он убеждён в своей неотразимости, но, во-первых, в России его никто не знает, а во-вторых, наша докторша-очкарик из тех, кого называют «сухарь», «педант». Она увлечена своей диссертацией, наукой и даёт стойкий отпор стремительному ухажёру. Нахальные притязания толстяка сразу же обостряют конфликтность ситуации. Докторша не щадит своего пациента, заявляя, что, мол, с таким пузом надо думать не об ухаживании за прекрасным полом. Ссора заходит так далеко, что наш герой может даже схлопотать пощёчину от взбешённой диссертантки.

Начинается тяжёлая, голодная жизнь итальянца в клинике. В этой больнице весьма оригинальный быт. Она отгорожена от города высоким глухим забором. Вахтёр, как правило, не пускает в клинику никого. А в приёмные дни он проверяет сумки посетителей, так как приносить больным еду запрещено. Пациентов в город не выпускают — ведь там полно гастрономических соблазнов: кафе, ресторанов, магазинов. Так что толстяки оказываются, по сути дела, узниками своеобразной тюрьмы, а кормят их куда хуже, чем за решёткой. К вечеру, когда организм понимает, что его больше ничем не накормят, каждый пациент готов выть на луну от нестерпимого чувства голода. Толстяки становятся грустными, глаза их тоскливо взирают на мир, появляются капризы, вспыхивают ссоры. Когда же приближаются часы кормления, то именно самые толстые с кружками в руках ждут у закрытых дверей и первыми врываются в столовую. Помимо тех, кому надо худеть, в этой клинике лечат и очень тощих, которым необходимо прибавить в весе. Этим кормят на убой. И вот в одной столовой между соседними столиками создаётся чудовищное пищевое неравенство. На одних столах — обильные, вкусные яства, на других — полная нищета. При этом «тучников» — так их зовут по-медицински — вдобавок ещё истязают процедурами и спортивными упражнениями: велосипед-тренажёр, гребля всухую, бассейн, катание тяжёлого мяча по животу, бег, гимнастика. А вечерами в садике при больнице происходят танцы. Толстые люди, как правило, очень подвижны и самозабвенно отдаются стремительным пляскам. И не поймёшь — то ли они получают от этого удовольствие, то ли это продолжение физических самоистязаний. Во всяком случае, перед зрелищем бойко танцующих полуторастакилограммовых людей меркнет любая фантастика. Здесь, на этой танцуйлке, завязываются романы, возникают дружбы, случаются и ссоры.

Каждое утро начинается с того, что у контрольных медицинских весов выстраивается очередь. Все спешат узнать, на сколько граммов они похудели. Сколько надежд, огорчений и радостей отражают лица во время взвешивания!

Между тем отношения между нашими героями более чем прохладные. Итальянец проходит исследования, сдаёт анализы, обрывает друзьями, активно участвует в больничной жизни. И единственный человек сух и неприветлив с ним — это наша докторша.

И вдруг в один прекрасный день телекомментатор замечает, что его лечащий врач резко меняет к нему отношение. В ней появляется приветливость, заинтересованность, доброжелательность. В голосе звучат ласковые интонации. Итальянец самоуверенно решает, что врачиха наконец-то оценила его прекрасные душевные качества, и удваивает усилия по обольщению. Они начинают вести пространные беседы, узнавая друг друга, знакомясь, открывая в каждом что-то новое, интересное. Комментатору становится известно, что докторша — вдова, у неё растёт сынишка, который только что пошёл в школу. Итальянец, в частности, показывает собеседнице свою фотографию с нарисованной на лице линией и сообщает, что этот абрис нарисовал известный кинорежиссёр, который предложил ему главную роль в фильме, если лицо нашего героя влезет в означенную

рамку. Он беззастенчиво врёт, сочиняя сюжет будущей ленты. Докторша обещает ему помочь и ещё больше ужесточает его пищевой и физкультурный режим. Однако интерес у врача к комментатору совсем не личного свойства. После исследований, анализов, после изучения того, как пациент себя ведёт в таких условиях голода и истязаний спортом, наша диссертантка понимает, что именно такого больного не хватает ей для блестящего завершения её научной работы. Чувство юмора, неистребимый оптимизм, склонность итальянца к шуткам и розыгрышам иллюстрируют кардинальные положения диссертации. Докторша неумолимо возится с пациентом, холит его, лелеет, прислушивается к каждому вздоху. А бедный итальянец воспринимает её заботы превратно. Стремясь завоевать взаимность симпатичной докторши, в которую он постепенно влюбляется по-настоящему, наш толстяк худеет прямо на глазах.

Однако терять вес очень тяжело — ведь организм, привыкший обильно есть, упорно сопротивляется. Обросший за время лечения русскими друзьями, наш комментатор иногда срывается. Тёплая компания из трёх толстяков и одного тощего язвенника — слесаря с завода — собирает в складчину деньги и устраивает подпольное пиршество. Они подбивают больничного повара приготовить им что-нибудь вкусненькое. Через забор дружки перекидывают им бережно завёрнутые в тряпье бутылки «с горючим». И вот, запершись в душевой кабине, голодные пациенты пускаются в загул. Их застукивает наша героиня. Она возмущена несознательным поведением своих подопечных, устраивает им выволочку. Скандал. Пациенты слёзно умоляют о прощении. Ведь всем грозит выписка из клиники, не выдадут им больничного листа, что означает прогул на производстве. С огромным трудом удаётся уговорить врачиху замять дело, не давать ему ходу. А наутро у всех солидная прибавка в весе и дикое раскаяние по поводу своего разнузданного обжорства...

А через несколько дней дошедший до ручки, оголодавший итальянец вместе со своим закадычным другом — слесарем (представим себе в этой роли Георгия Буркова) совершают побег из больницы в город. Ночью они перелезают через забор и исчезают. Их приключения в Москве — особая глава в сюжете нашей картины. Похождения беглецов кончаются тем, что они явятся с повинной на квартиру докторши. И та будет помогать их тайному возвращению в клинику, становясь тем самым соучастницей их проступка.

Постепенно телосложение нашего героя начинает приближаться к мужскому эталону. И докторша, сама того не замечая, начинает испытывать к своему пациенту чувство, сходное с тем, которое Пигмалион питал к изваянной им скульптуре Галатеи.

Встречи докторши и пациента в палате во время ежедневных обходов и прослушиваний грудной клетки становятся всё более опасными и напряжёнными. Дело явно двигается к любовному объяснению между героями.

Но буквально накануне защиты диссертации наша докторша узнаёт о вероломстве итальянца. Оказывается, овал на его фотографии нарисован вовсе не рукой известного кинорежиссёра, а его невестой, ради которой он и затеял всё это похудание. Горечь, обида, негодование охватывают нашу героиню. Тут она, может, впервые осознаёт, что любила этого очаровательного вруна и нахала.

Наступает торжественный день защиты диссертации. Учёный совет, врачи-коллеги и итальянец в качестве экспоната, который должен подтвердить правильность выводов диссертантки. Защита проходит блистательно. Но именно в это время пациент вдруг понимает, что не он интересовал милую докторшу. Её, оказывается, привлекло совсем другое — его анализы, своеобразие его желудка, особый обмен веществ и оригинальный склад характера, мужественно переносящего голодание. Выясняется, что итальянец подошёл докторше не как личность, а как объект для научной темы.

И вот наступает грустное прощание наших героев. Они любят друг друга, но никто из них не решается в этом признаться.

Как кончится эта история — разлукой или свадьбой — говорить ещё рано. Скорее всего, расставанием. Пока лишь выдуманы контуры сюжета, который в процессе написания может и должен углубиться, расшириться или в чём-то измениться.

Мне кажется, на этой основе удастся создать весёлую, забавную, чистую и трогательную историю о том, как два очень разных человека, находящиеся на разных полюсах, встречаются в этой жизни, как они находят общий язык и, более того, находят друг друга. Даже если они не сберегут свою любовь, всё-таки она у них состоялась. А это уже немало! Каждый из наших героев становится своеобразным Пигмалионом для другого. Любовь очищает и преображает как русскую докторшу, так и итальянского телекомментатора. К концу рассказа у героини должны исчезнуть сухость, педантизм, наукообразность. И, наоборот, должны проявиться нежность, душевность, доброта, женское очарование. А комментатор должен стать не только стройным, но и преобразиться духовно. Быть более деликатным, глубоким, застенчивым, серьёзным...

После написания сценария я намереваюсь реализовать эту комедию в качестве режиссёра-постановщика.

*Режиссёр и драматург
Эльдар Рязанов
Москва, 14 февраля 1982*

Не скрою от читателя, что некоторые коллизии в этом сюжете отразили личное знакомство автора с клиникой. Ибо довелось мне лежать в ней трижды и на своей шкуре испытать тяжёлые голодные муки. Но это другая история...

Не буду рассказывать о сложных ситуациях, связанных с осуществлением совместных постановок, но, в общем, затея моя сорвалась. Тем временем я снял «Вокзал для двоих», а затем и «Жестокий романс». Заявка же намертво залегла среди бумаг так называемого архива. Как поэт, я вышел из подполья и стал публиковаться. Моими стихами заинтересовался молодой провинциальный композитор. Он сочинил несколько песен на мои тексты. Однажды он сказал, что хотел бы сделать мюзикл, поинтересовался, нет ли у меня какого-нибудь сюжета в заглавнике, который можно было бы использовать для музыкальной пьесы или сценария. Тут я вспомнил о заявке «Толстый и тонкая» и извлек её из бумажных глубин. Композитор прочитал, возбудился и стал уговаривать меня написать пьесу с вокальными и танцевальными номерами.

Для пробы я сочинил несколько стихотворных текстов для одного из эпизодов — подпольной вечеринки толстяков и дистрофиков. Композитор регулярно звонил мне, рассказывал, как движется работа, призывал меня вплотную заняться пьесой. Но я решил сначала послушать какие-то из написанных мелодий. Да и занят был очень фильмом «Небеса обетованные». А потом композитор вдруг перестал звонить, и я узнал, что он с семьёй переехал в Америку. Связь оборвалась. Позже кто-то из общих знакомых рассказывал мне, что композитор играет на свадьбах и похоронах эмигрантов, что его музыкальная карьера в Штатах не состоялась. Жаль, ибо человек он несомненно одарённый...

А злополучная заявка снова была запрятана в стол. Но несколько стихотворений осталось. И когда затевалась эта книжка, я вспомнил свою нематериализованную идею, достал заявку и перечитал её. Честно скажу, посетовал, что не сочинил в своё время пьесу для мюзикла. Сюжет показался мне (а я читал его совершенно свежими глазами) забавным, вполне достойным воплощения. Но я уже вряд ли когда-либо вернусь к «Толстому и тонкой».

Во всяком случае, я рад, что читатель познакомился с эскизом произведения, с первоначальным замыслом.

А теперь несколько стихотворений для ненаписанного мюзикла...

ПЕСНИ ИЗ НЕОСУЩЕСТВЛЁННОГО МЮЗИКЛА

ПЕСЕНКА О НАДЕЖДЕ

Порою верим мы в пустое,
чему, понятно, не бывать.
Надежда ничего не стоит,
её не стоит отнимать.

Увижу ль через год подснежник?
Войду ль ещё в морскую гладь?
Грош ломаный — цена надежде,
её не надо отнимать.

Опять гонюсь за красотой,
хотя и знаю — не догнать.
Надежда ничего не стоит,
её не стоит отнимать.

Жизнь это дело непростое,
но мы прожить её должны.
Надежда ничего не стоит,
надежде, точно, нет цены.

ИСПОВЕДЬ ТОЛСТЯКА

Я свою раскрою подноготную,
чтобы вам не думать, не гадать:
я — тупое, толстое животное,
созданное, чтобы есть и спать.

Распрямились бывшие извилины,
думаю теперь я животом
и невольно сам себе завидую,
что я стал безмозглым толстяком.

Жаль мне тех, кто бегают и думает,
в отдыхе от мыслей — благодать...
Пусть они себя считают умными...
Ну, а я рождён, чтоб есть и спать.

КУПЛЕТЫ ЖИЗНЕЛЮБА

Тот ублажал пищеваренье,
имел отличный стол и стул,
обжора, пьяница, хвастун
скончался за столом сраженья.

Другой был тоже греховодник,
его пример наука нам —
он помер на одной из дам,
поскольку дамский был угодник.

Был третий — славный забияка!
Его девиз — атака, драка.
Он извергал немало брани...
Жизнь кончил после схватки в бане.

Четвёртый ими всеми правил
без чести, без стыда, без правил...
Достиг он почестей и культа...
А сам дал дуба от инсульта.

Почили, отдали концы
все жизнелюбы — молодцы...
Какая же во всём мораль?
И мы загнёмся — вот что жаль!

ЖАЛОБА ПОЛУКРОВКИ

Во мне бурлит смешение кровей...
Признаюсь, по отцу я чисто русский.
По матери, простите, я — еврей!
А быть жидом в стране родимой грустно.

Разорван в клочья бедный организм,
в какой борьбе живёт моя природа!
Во мне слились в объятье сионизм
навек с Союзом русского народа.

То хочется мне что-то разгромить,
то я боюсь, как бы не быть мне битым.
Внутри меня семит с антисемитом,
которых я не в силах помирить.

ПРИБАУТКИ ШУТА

У одного — набитый дом,
у этого — ума излишек...
А я набитым дураком
живу, признаться, без мыслишек.

Мысль думала — к кому б зайти?
и заглянуть ко мне решила.
Но то ли сбилась по пути,
а то ль другого подцепила.

Без мыслей сложно жить теперь,
но жить и с мыслями непросто.
Одна протиснулась под дверь,
поскольку оказалась плоской.

Я этой хилой гостье рад,
ей в голове моей пустынно,
просторно, гулко. Я — дурак!
Такой, что даже не обидно.

ПЕСЕНКА ВЛЮБЛЁННОГО ТУЧНИКА

Любовь творить способна чудеса —
издревле эта истина известна.
Пришла любовь! Но вот живу я пресно,
поскольку уменьшаю телеса.

Себя обрёл на страшную диету,
голодный блеск горит в моих очах...
Любовь пришла! И аппетита нету...
По-моему, я попросту зачах.

Когда влюблён, то не до аппетита,
гастрономические радости забыты,
отправлен к чёрту крепкий алкоголь...
Весы практически показывают «ноль»!

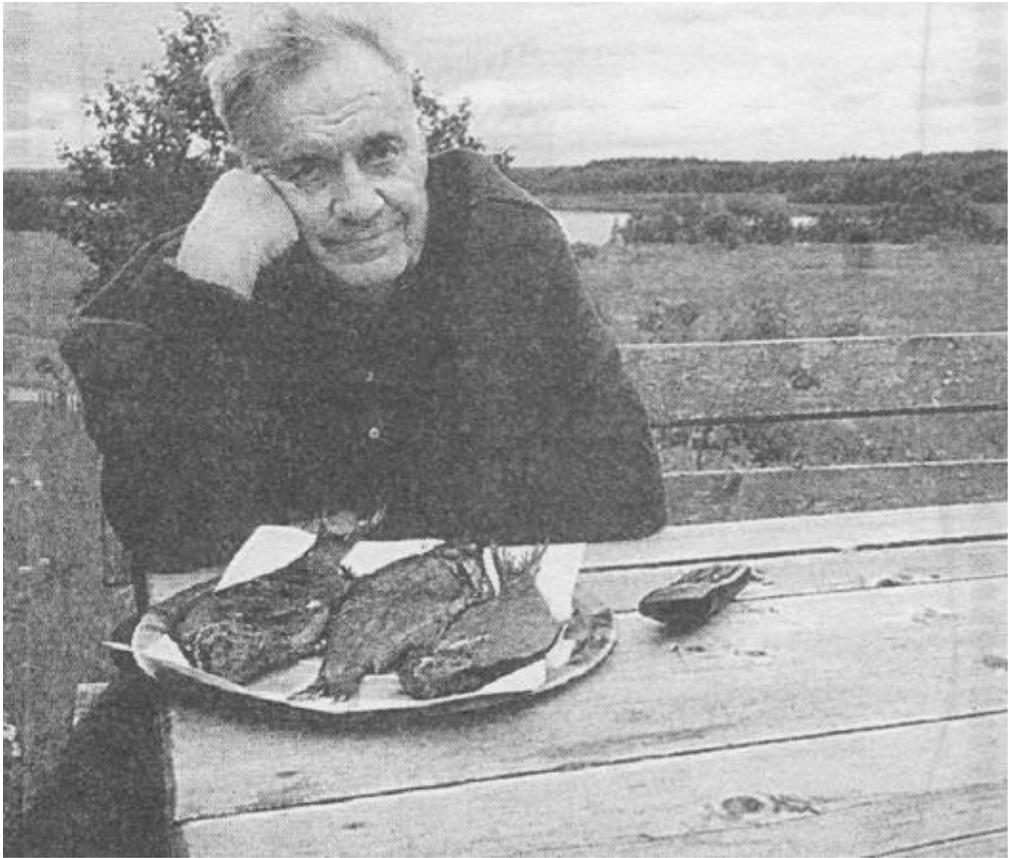
Креплюсь! Держусь! Худею! Нету сил!
Испытываю жуткие страдания!
Ведь я, по сути дела, заменил
телосложение на теловычитанье.

Какой кошмар! Я весь сошёл с катушек.
Я превращаюсь в тоненькую нить...
Коль ты меня за это не полюбишь,
геройства не сумеешь оценить,

Осыплю тебя множеством проклятий,
рыдая удалюсь и стану есть,
Как ели сорок тысяч братьев...
Такой ужасной будет моя месть!



Уходящая
натура



КАК МЕНЯ ПАРОДИРОВАЛИ

Новелла

БЛИЗНЕЦЫ

Гляжу я на себя со стороны,
и кажется: всё это не со мною!
Нет, я себя не чувствую больным.
Но вроде я в разводе сам с собою.

Как будто это кто другой живёт
и поступает так, а не иначе.
Тот совершает всё наоборот:
где я бы засмеялся, тот заплачет.

Я за его поступками слежу:
какая глубина несовпадения!
Где камень я за пазухой держу,
готов он становиться на колени.

Он смел, рисков, удачлив и речист,
а я завистлив, зол и неуверен.
Как он решителен! Какой он оптимист!
А у меня потеря за потерей.

Непринуждённо входит он в контакт,
в нём комплекс полноценности, здоровья.
А я живу, хожу, дышу не так,
никто не отвечает мне любовью.

Ущербностью пронизан я насквозь,
осознаю и от того печалюсь.
Но мне больнее, чем в ладони гвоздь,
что он ко мне испытывает жалость.

Он далеко вознёсся от меня,
мне без него тревожно и уныло.
Хотя мы очень близкая родня,
не совместит нас никакая сила.

По правде, я завидую ему
и торможу, тяну назад, толкаю.
Своим умишком я его уму
пугливые сомненья подпускаю.

Все говорят — он лёгкий человек
и, кажется, не обделён талантом.
Но с ветром, что гуляет в голове,
ему никак не выбиться в гиганты.

Я за его поступками слежу,
завидую его большим ошибкам.
Я сам-то, как положено, служу,
привыкший быть безропотным и гибким.

Тот вспыльчив и несдержан на язык,
а я хитёр и потому молчальник.
А тот востёр, сгибаться не привык.
Понятно, почему он не начальник.

Случилась бы, наверняка, беда,
коль я бы с ним не находился рядом.
Хотя мне удавалось не всегда
его сдержать пинком, словами, взглядом.

Я и близнец ему, и враг, и страж...
Года мелькают в ругани и драке.
И нескончаем поединок наш:
я вечно в обороне, он — в атаке.

Как не похожи друг на друга мы,
хоть и живём в единой оболочке.
О, нам не выйти из своей тюрьмы,
двум узникам, сидящим в одиночке.

Хоть камера довольно велика
и весит больше сотни килограммов,
в ней два бесплотных склочных дурака
проводят жизнь в сражениях и драмах.

Никак их невозможно приструнить.
То одного, а то другого жалко.
Признаться, человеку трудно жить,
когда в душе сплошная коммуналка.

Но, честно говоря, я лишь того боюсь,
что вдруг один уйдёт и не вернётся,
что кончится враждебный наш союз
и для оставшегося горем обернётся.

Стихотворение «Близнецы», которое Вы только что прочитали, дорогой Читатель, было помещено в самой первой подборке моих поэтических трудов, а именно в журнале «Октябрь» № 10 за 1983 год. Как я уже писал, на эту публикацию не последовало абсолютно никаких откликов, отзвуков, оценок. Как будто этого факта не существовало, как будто я плюнул в Лету. И, наконец, — ура! — вначале 1984 года кто-то мне сообщил, что в «Крокодиле» появилась пародия на моё стихотворение. Я побежал в библиотеку и взял журнал. Это был, по сути, первый отклик на мой поэтический дебют. Я очень обрадовался. Ведь пародии на всякое барахло стараются не писать. Я нетерпеливо раскрыл наш сатирический журнал «Крокодил» № 8 за 1984 год. Среди сатир на Андрея Вознесенского,

Сергея Острового и Людмилу Щипахину была напечатана пародия и на меня. Я прочитал следующее:

Алексей Пьянов

САМ С СОБОЙ, ИЛИ ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Гляжу я на себя со стороны,
и кажется, всё это не со мною!
Нет, я себя не чувствую больным...
Но вроде я развёлся сам с собою.

Эльдар Рязанов

У каждого есть странности в судьбе,
загадки, аномалии, секреты.
Мне выпало жениться на себе.
Послушайте, как получилось это.

Я на углу себя часами ждал
и сам себе ночами часто снился.
С другим себя увидев, я страдал,
покуда сам себе не объяснился.

На свадьбу гости собрались гурьбой,
и каждый молодыми любовался:
я был в фате и тройке. Сам с собой
под крики «горько!» сладко целовался.

А после свадьбы, не жалея сил,
любил себя и праздновал победу.
И сам себя я на руках носил
и тайно ревновал себя к соседу.

Потом себя за это извинил,
но поманила прежняя свобода...
Я сам себе с собою изменил
и у себя потребовал развода.

В суде мою специфику учли:
чего, мол, не бывает с мужиками.
И, пожурив немного, развели
они — меня. Читатели — руками.

Прочитав это, я огорчился. А почему огорчился — станет ясно из нижеследующего послания.

Письмо редактору «Крокодила» Е.П. Дубровину

Уважаемый Евгений Пантелеевич!

Очень рад, что у меня подвернулся повод написать Вам. В восьмом номере Вашего журнала была опубликована стихотворная пародия Алексея Пьянова на одно из моих стихотворений. Не скрою, мне, начинающему поэту, было лестно появиться на страницах «Крокодила» в роли пародийного объекта. Тем более среди таких маститых поэтов, как А. Вознесенский. С. Островой, Л. Щипахина. К жанру пародии, как Вы можете догадаться, отношусь с нежностью, никогда не боюсь показаться смешным и всегда готов подставить свою голову в качестве предмета осмеяния. Ибо с чувством иронии нужно в первую очередь относиться к себе самому. Так что само появление пародии я воспринял, безусловно, как факт приятный. Огорчила меня маленькая небрежность. В цитате, которая предваряет пародию, к сожалению, переврана или, если хотите, искажена строчка из моего стихотворения.

В журнале «Октябрь» № 10 за 1983 (там была напечатана первая подборка моих стихотворений) строчка читается так: «...но вроде я в разводе сам с собою...»

В восьмом номере «Крокодила» эта же строчка, данная в эпиграфе, читается чуть иначе: «...но вроде я развёлся сам с собою...»

Казалось бы, ерунда. Изменено, по сути, одно слово. Однако это, оказывается, далеко не мелочь. Не говорю уже о внутренней рифме «вроде — в разводе», которую потерял пародист, но несколько изменился и смысл. «В разводе» значит в разладе, в несогласии, в спорах с собою и т. д. А глагол «развёлся» в данном контексте действительно представляет простор для фантазии.

Замена одного слова может привести к любопытным результатам. К примеру, я мог бы написать, что означенную пародию сочинил Алексей Алкоголиков, а не Алексей Пьянов. Казалось бы, какая разница! Ан нет! Различие тем не менее существенное. Я прицепился к этому глаголу «развёлся» ещё и потому, что именно на нём-то строится вся пародия:

«...сам себе **не объяснился...**»
«...сам с собою сладко **целовался...**»
«...сам себя на руках **носил...**»
«Я сам себе с собою **изменил**
и у себя **потребовал** развода...»

И тому подобное...

Согласитесь, что исказить строчку стихотворения, а потом, оттолкнувшись именно от своего выражения, пародировать меня не совсем... как бы это выразиться... ну, скажем... не совсем элегантно.

Вы не думайте, пожалуйста, что я считаю свои стихотворные опусы безупречными и что в них не к чему привязаться пародисту. Уверен — поле благодатное. Просто хочется, чтобы меня высмеивали за моё, а не за чужое...

При этом смею Вас заверить, что я ни капельки не обиделся, я ничуть не разозлился и отношусь ко всему этому с юмором. И никаких булыжников за пазухой в адрес пародиста не держу. Считаю его человеком талантливым и остроумным. Просто у меня настолько вздорный, склочный характер, что я мимо даже такой мелочи, абсолютно незлонамеренной, не могу пройти молча. Представляете, как мне трудно жить?

Прошу Вас, дорогой Евгений Пантелеевич, никого не наказывайте, не делайте оргвыводов. Улыбнитесь, прочтя это послание, и забудьте о нём. Сердечный привет Алексею Пьянову.

*Искренне Ваш
Эльдар Рязанов.*

Ответ редактора «Крокодила»

Уважаемый Эльдар Александрович!

Рад, что Вы не обиделись на ту оплошность, которую допустил А. Пьянов и мы вместе с ним, не проверив цитату. Надеюсь, этот досадный факт не омрачит нашей взаимной (я надеюсь!) симпатии.

Будем рады видеть Вас у себя в гостях (и в редакции, и на страницах в качестве автора).

С самыми добрыми пожеланиями

*Е. Дубровин
13 апреля 1984*

А летом 1984 года мы с женой отдыхали в Ниде, в доме творчества писателей. Оказалось, что в соседней комнате живёт пасквилянт Алексей Пьянов. Мы познакомились. Пьянов оказался славным, симпатичным человеком. Помимо стихов и пародий, он автор книг о Пушкине, работал тогда заместителем редактора журнала «Юность». Алексей Пьянов признался мне: когда он узнал, что я буду его соседом на отдыхе, он приуныл и даже подумывал — не отказаться ли от путёвки. Он что-то слышал о моём шершавом характере и побаивался, как бы не случилось неприятного инцидента. Но я действительно не держал зла на пародиста, и у нас возникли добрые отношения. Пьянов был огорчён своей небрежностью, тем, что он подвёл редакцию «Крокодила», и был в этом искренен. Дело кончилось тем, что он, сделав дружескую надпись, подарил мне книгу своих стихотворений. А потом Алексей Пьянов стал главным редактором «Крокодила», и я неоднократно принимал его любезные приглашения и с удовольствием печатался в этом журнале. Учитывая зловредность моего характера, я рад, что в данном случае у меня хватило чувства юмора и, если хотите, ума, чтобы не обидеться и не наломать дров. Вот и вся новелла. Хорошо бы, если и у остальных историй был бы такой же идиллический финал.

ПОРТРЕТ

Так что же такое портрет человека?
Лицо, на котором отметины века.
Зарубки судьбы и следы прожизанья,
что требуют стойкости, сил и страданья...

Где глаз синева, чуб курчавый и статность?
Куда-то растаяло всё без остатка.
Возьмём этих щёк худосочную бледность —
её рисовала извечная бедность,

и эта угрюмая резкая складка
у губ залегла, когда стало несладко,
когда он отца проводил до погоста...
Быть юным, но старшим — непросто, непросто.

Потом на работах сгибался он часто
от окриков хамов, что вышли в начальство,
всё горбился, горбился и стал согбенным.
А эта морщина возникла мгновенно,
прорезалась сразу от женской измены.
Предательство друга, поклёпы, наветы —
он чуть в лагеря не поехал за это.
Прокралась безвременно прядь седины!
А дальше пешком по дорогам войны,
где горюшка он до краёв нахлебался,
но всё ж повезло, и в живых он остался.
С тех бед на лице его сетка морщин —
для этого множество было причин.
Вернулся в посёлок хромым инвалидом,
по тем временам женихом был завидным:
рожденье ребёнка и смерть молодухи —
резон, чтобы влить в себя вёдра сивухи.
И всё не кончалась пора голодухи...
По ложным призывам в трудах бесполезных
мелькали одна за другою години,
подкрались, как свойственно летам, болезни,
и шли в наступленье седины, седины.

Есть пенсия, дочка, внучок, огородик
и сад, где он всякую зелень разводит.

Её он разносит по дачам клиентов —
торговцев, начальников, интеллигентов.
Работы, заботы, болезни, утраты,
за то, чтобы жить, — непомерная плата.

Кончается жизнь и в преддверии гроба
не ведает чувства такого, как злоба.
Всё стерпит, снесёт, донесёт до конца...
Я в жизни не видел прекрасней лица
со скромной, великой, простой красотой,
смирением, кротостью и добротой.

1990

СМЕНА ВОЗРАСТА

Как постепенна смена возраста,
и как расплывчаты приметы.
В усталой и осенней взрослости
бушуют отголоски лета.

Но вот придвинулось предзимье...
И, утренним ледком прихвачено,
вдруг сердце на момент застынет.
А в нас ещё весна дурачится.

Такая вот разноголосица,
смешные в чём-то несуразности:
и детства отзвуки доносятся,
и смерть кивает неотвязная.

1987

ЖАЛОБА

Я устроен для работы,
я почти что автомат, —
выдаю всё время что-то,
как заправский агрегат.

И, подобно водопаду,
на меня летят дела:
ЭТО, ТО и ЭТО — надо...
Оглянулся — жизнь прошла.

Постоянно что-то должен,
перед всеми я в долгу.
Я спешу, лечу, бегу!
Отдышаться невозможно,
силы вышли... не могу...

Жизнь страницу за страницей
перелистывает в срок.
Как бы мне остановиться!
Как бы мне прервать поток!

Разрываюсь я на части,
разлетаюсь на куски.
Говорят, что в этом счастье,
а не то помрешь с тоски.

Повалиться бы в кровати,
поглазеть на дождь в окно,
по опушке прогуляться,
просто так сходить в кино.

Я машина для работы,
подустал я, братцы, что-то.

* * *

С понедельника, с понедельника
начинаем мы новую жизнь,
забываем про лень и безделье,
станем вкалывать — только держись.

Призовём себя сами к порядку,
чтоб диету всегда соблюдать,
делать каждое утро зарядку
и долги точно в срок отдавать.

В день тяжёлый, назначенный нами, —
план прекрасный пришлось отложить.
И виновны в том были мы сами,
что не начали правильно жить.

Понедельники все пролетели,
сгинул месяц совсем в никуда,
жить по-новому мы не успели.
Ну, да это ещё не беда!

Ладно, пусть уж до Нового года
мы продолжим нескладно, как встарь.
Рубежи намечает природа,
согласуем с ней свой календарь.

Вот и праздники улетели,
промелькнули сезоны, года.
Жить по-новому мы не успели
и не сможем, боюсь, никогда.

Но впивается совесть и мучит,
быть в ладу с нею я не привык.
О, моя незавидная участь —
затянувшийся черновик.

Запустил, раскурочил хозяйство —
сам, как старый и рваный пиджак.
Я купаюсь в своём разгильдяйстве,
понимая, что надо — не так!

Всё! Клянемся: ругаться не будем!
Прекратим вообще нарушать!
Перед сном, как приличные люди,
мы начнём кислородом дышать.

С понедельника, с понедельника
затевается новая жизнь.
К чёрту лень, безучастье, безделье —
размахнёмся мы так, что держись!

Понедельники прочь улетели,
возвратить их обратно нельзя.
Жить по-новому мы не успели.
Может, это неплохо, друзья!

ФАЛЬШИВАЯ ВЕСНА

Бывает иногда, что средь зимы
природа вдруг являет свою милость:
мороза нет, нет вьюжной кутерьмы,
снега сошли, поникли, растворились.

Термометр упрямо лезет вверх,
нежданная теплынь стоит неделю,
и оживают мошкара и зверь —
мол, климат изменился в самом деле.

Боюсь я, что фальшивая весна
того и ждёт, чтобы набухли почки.
Ударит холодом, коварна и страшна!
И вымрут деревья поодиночке.

Природу так нетрудно обмануть,
её создания доверчивы, открыты.
Всё бьёт и бьёт тревога в мою грудь,
что слишком слабы силы для защиты.

Декабрь 1986

ЯНВАРЬ

Смеяться над бюро прогнозов
неловко как-то и грешно.
Мы в ожидании морозов,
которым быть бы уж должно.

Всему своя температура,
ждёт холода моя натура,
ей надоели морось, гниль.
К тому ж скользит автомобиль...

И смотрят вниз на гололедицу
Большая с Малою Медведицы.

* * *

Как хорошо порою заболеть,
чтоб бег прервать, единственное средство.
Под одеяло тёплое залезть
и вспомнить, как болел когда-то в детстве.

Там за окном зима — весь мир замёрз.
Пьёшь с горькой миной сладкую микстуру
и на тревожный матери вопрос
плюсуешь ты себе температуру.

Высовываешь белый свой язык,
«а» говоришь, распахивая горло,
и взглядом, отрешённым от живых,
даёшь понять, мол, руки смерть простёрла.

Как сладостно себя до слёз жалеть,
в мечтах готовить жуткие сюрпризы:
взять и назло всем близким умереть,
чтоб больше не ругали за капризы.

Вообразить — кладут тебя во гроб,
мать вся в слезах, дружки полны смиренья.
И бьёт по телу россыпью озноб,
как предвкушенье будущих крушений.

Дней через пять, к несчастью, ты здоров.
Укутали и вывели на солнце,
и ты забыл обиды, докторов.
А мысль о смерти спит на дне колодца.

* * *

Я всё ещё, как прежде жил, живу,
а наступило время отступленья.
Чтобы всю жизнь держаться на плаву,
у каждого свои приспособленья.

Я никогда не клянчил, не просил,
карьерной не обременён заботой.
Я просто сочинял по мере сил
и делал это с сердцем и охотой.

Но невозможно без конца черпать —
колодец не бездонным оказался.
А я привык давать, давать, давать.
И, очевидно, вдрызг поиздержался.

Проснусь под утро... Долго не засну...
О, как сдавать позиции обидно!
Но то, что потихоньку я тону,
покамест никому ещё не видно.

Богатства я за годы не скопил,
порою жил и трудно, и натужно.
В дорогу ничего я не купил.
Да в этот путь и ничего не нужно.

1988

КРУГОСВЕТКА

Говорит старуха деду:
— Я в Америку поеду!
— Ах ты, старая балда,
Туда не ходят поезда!

Частушка

С другом старым я расстался,
влез в отцепленный вагон...
И поехала вдруг станция,
заскользил назад перрон.

Мягко двинулись берёзы,
шаг ускорили столбы...
Чуть не навернулись слёзы —
знак обманчивой судьбы.

Я теперь уже не нужен,
как исчерпанная мысль.
Городки бежали дружно,
переезды пронеслись.

Отпивал я помаленьку
железнодорожный чай,
мимо мчались деревеньки,
проезжал родимый край.

Что за странность? Что за диво?
Поезд без локомотива.
И не поезд, а вагон —
ни к чему не прицеплён.

Всё стремительней стучали
в беге гулкие мосты.
И отъехали печали,
и растаяли мечты.

Вдруг какой-то городишко
встал у моего окна:
заграничные людишки,
и чужая речь слышна.

А потом опять галопом
сквозь рассветы и туман
проскакала вся Европа...
За окошком — океан!

Свирепеют злые штормы,
волны небывалой формы,

выше крыши, больше нормы,
и в поклонах корабли.

А вагон стоит упорно.
Качки нет. И нет земли.

В том отцепленном вагоне
удивительный покой,
а вокруг меня в разгоне
раскрутился шар земной.

После океанской порки
материк притормозил...
Ноги я размял в Нью-Йорке,
кое-что сообразил.

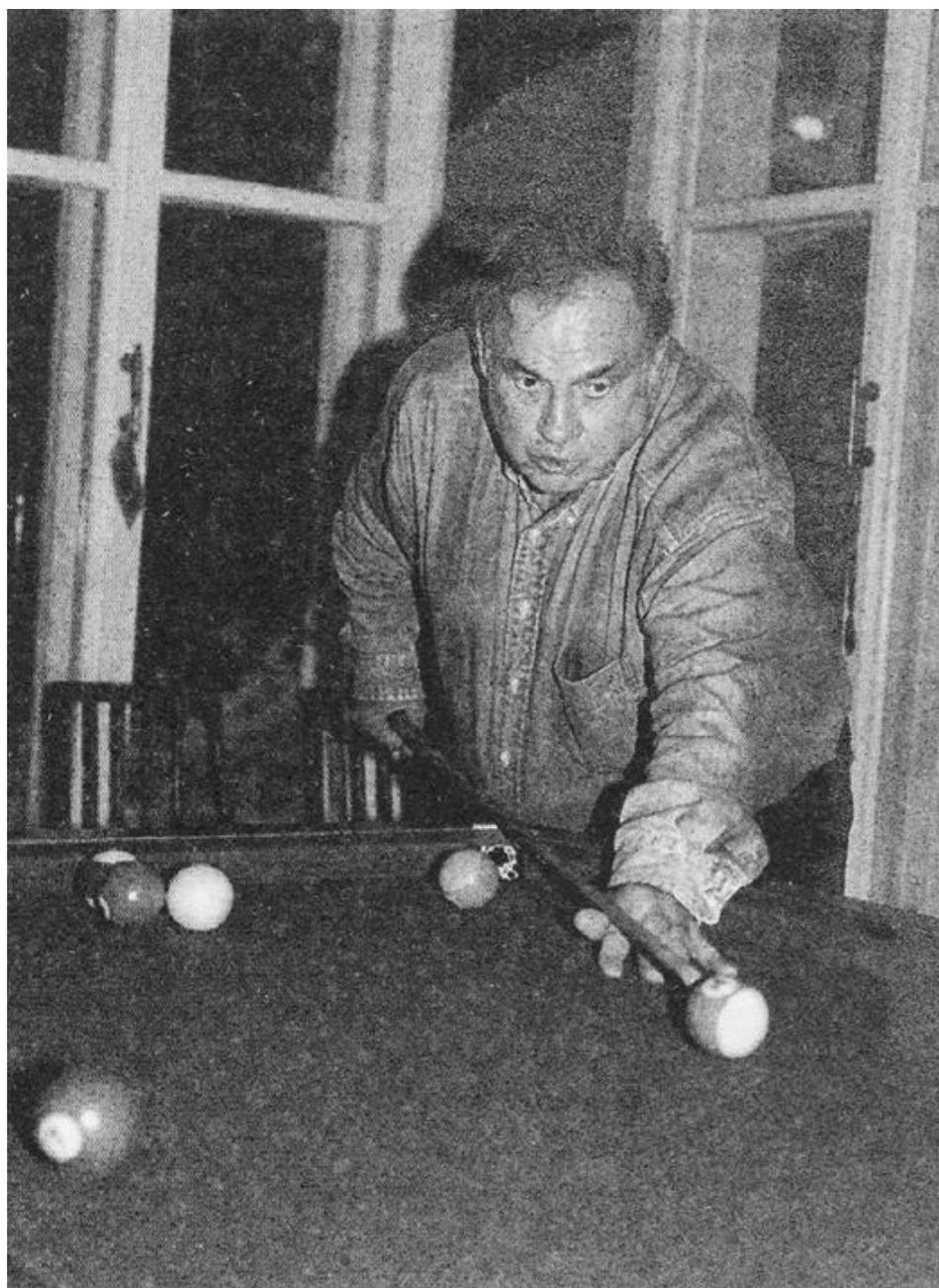
Завертелась вновь пружина.
Проскочил в один момент
экзотической картиной
азиатский континент.

Семенили государства,
суетились города.
Не успев сказать им «здравствуй»,
я прощался навсегда.

Проявились вновь заботы,
завершался круг судьбы.
Круг беды или почёта?
Шаг замедлили столбы.

Снова город мой вернулся,
скатертью лежит перрон...
Как некстати я проснулся!
Я хочу обратно в сон.

1991



Бильярд - любимая игра. Но как
редко удается развлечься, от-
дохнуть...

* * *

Я понял, что необразован,
хоть и прожил немало лет,
хотя начитан и подкован,
хоть и объехал целый свет.

Иной мужик, что рос в деревне,
попросвещённое меня —
легко читает в книге древней,
природной книге бытия.

Он сойку отличит от дятла,
не спутает с пшеницей рожь,
ему как своему понятна
реки предутренняя дрожь.

По голосу он понимает,
кто — коноплянка или дрозд?
В чужом лесу не заплутает
и знает много разных звёзд.

По запаху он ищет травы,
легко в реке отыщет брод.
Он изучил букашек нравы,
какая рыба где живёт.

Ему любой зверёныш ведом,
и словно азбука — поля.
В преданьях, переданных дедом,
ему завещана земля.

Угадывает он погоду,
набит приметам — не счесть!
Не знает, любит ли природу,
поскольку сам природа есть.

* * *

Ещё пишу, снимаю, сочиняю.
Дела идут, и вроде хороши.
Но знаю — не живу, а доживаю.
И это пониманье — боль души.

Не жду удачи, озаренья, взлёта.
Мне так и не достался главный приз.
И предстоит паршивенькое что-то,
крушение или круженье вниз.

Эпоха раскрутилась многолико
и припустилась в суматошный бег.
Смотрю ей вслед безропотно и тихо,
оставшийся в минувшем человек.

1992

* * *

На горных дорогах устраивают приспособление, чтобы гасить скорость, если у машины вдруг откажут тормоза. Называется оно — «улавливающий тупик»!

Не надо слишком быстро ездить,
запальчиво стремиться вдаль.
Наступит некогда возмездье —
вас остановят враз. А жаль!

Не надо слишком лихо мчаться,
других азартно обходить.
Придётся разочароваться —
придётся долго слёзы лить.

Зачем вводить людей в расстройство
и издавать победный крик?
Есть специальное устройство:
улавливающий тупик.

Вот вы несётесь, вы несётесь,
и не нужны вам тормоза!
Добро, коль сами разобьётесь.
А то помогут вам друзья.

Ведь вы, набрав большую скорость,
тем огорчите всех. Тогда
решат, что повернуть вас впору
на путь, который в никуда.

Но если всё ж, презрев условия,
вы вырветесь в чудесный миг,
вас заарканят, вновь изловят,
собьют, сошлют, заткнут в тупик.

* * *

Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Весна.
И жизнь легка. Не давит её ноша.
И на душе такая тишина,
что, кажется, от счастья задохнёшься.

Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Зима.
И жизнь тяжка. И неподъёмна ноша.
И на душе такая кутерьма,
что, кажется, от горя задохнёшься.

То ночь жарка, а то морозен день.
Вся жизнь в полоску, словно шкура тигра.
А на душе такая дребедень.
Да, жаль, к концу подходят эти игры...

* * *

Осень начинается в горах,
а затем сползает вниз, в долины...
В нижний лес прокрался жёлтый страх,
белый снег покрасил все вершины.

Старость начинается в ногах,
даже в зной, укутанные, мёрзнут...
И ползёт наверх холодный страх
предисловием событий грозных.

* * *

Какие звонкие ребята
пришли в конце пятидесятих, —
худы, крикливы, небогаты,
со свежим чувством, с тонкой кожей,
со словом новым, непохожим;
глаза дерзки, упрямы мышцы —
певцы, актёры, живописцы,
творцы кино и музыканты...
Какие звонкие таланты!

Теперь, в конце восьмидесятих,
в почёте прежние ребята,
богаты и лауреаты,
и телом, и душой пузаты,
пропал их праведный запал.
Теперь, в конце восьмидесятих,
оборотились в доставал...
Какая жалкая расплата!

* * *

Я тороплю и тороплюсь!
Я, как курьерский поезд,
куда-то бесконечно мчусь,
никак не успокоюсь.

Несусь без остановки,
не надо, мол, парковки,
я лишь в лихом движенье
спасусь от поражения.

Я тороплюсь и тороплю,
остались сзади лица...
И запоздало я скорблю —
не смог остановиться.

Как много пробуксовок
и передозировок...
Я весь в изнеможенье,
скорее бы паденье.

Я тороплю и тороплюсь!
Но сколько можно, сколько?
Я развалюсь, я расколюсь
на мелкие осколки...

Но я отваги наберусь
и наконец остановлюсь...
По сторонам я оглянусь
и, может, в чём-то разберусь.

Сменю я установку,
возьму переигровку...
Поскольку наслажденье
всегда в освобожденье.

* * *

Когда-то, не помню уж точно когда,
на свет я родился зачем-то...
Ответить не смог, хоть промчались года,
на уйму вопросов заветных.

Зачем-то на землю ложится туман,
всё зыбко, размыто, нечётко.
Неверные тени, какой-то обман,
и дождик бормочет о чём-то.

О чём он хлопочет? Что хочет сказать?
Иль в страшных грехах повиниться?
Боюсь, не придётся об этом узнать,
придётся с незнанием смириться.

От звука, который никто не издал,
доходит какое-то эхо.
О чём-то скрипит и старуха-изба,
ровесница страшного века.

И ночь для чего-то сменяется днём,
куда-то несутся минуты.
Зачем-то разрушен родительский дом,
и сердце болит почему-то.

О чём-то кричат меж собою грачи,
земля проплывает под ними.
А я всё пытаюсь припомнить в ночи
какое-то женское имя.

Зачем-то бежит по теченью вода,
зачем-то листва опадает.
И жизнь утекает куда-то... Куда?
Куда и зачем утекает?

Кончается всё. Видно, я не пойму
загадок, что мучают с детства...
И эти «куда-то», «о чём-то», «к чему»
я вам оставляю в наследство.

КАПРИЗНАЯ ПАМЯТЬ

У памяти моей дурное свойство —
любая пакость будет долго тлеть.
Хочу прогнать больное беспокойство,
но не могу себя преодолеть.

Как в безразмерной «камере хранения»,
в сознание чемоданы и мешки,
в которых накопились оскорбления,
обиды, унижения и щелчки.

Не в силах изменить свою природу,
я поимённо помню всех врагов.
Обиды-шрамы ноют в непогоду.
К прощенью я, простите, не готов.

В самом себе копаюсь я капризно,
на свалке памяти я чёрт-те что храню.
Обидчиков повычеркав из жизни,
я их в воображение хороню.

Конечно, признавать всё это стыдно,
и я раскрыл свой неприглядный вид.
Я очень плох! И это очевидно!
Моё сознание — летопись обид!

У памяти моей дурное свойство —
я помню то, что лучше позабыть.
Хочу прогнать больное беспокойство,
но не могу себя переломить.

* * *

Я летал над ночью землёй,
занимались рассветные сумерки...
Каркал голос — бесплотный и злой,
будто я и судьба моя умерли.

Начинался меж тем новый день,
захотелось мне с ним прошвырнуться.
Нацепил я луну набекрень
и гулял над Китаем и Турцией.

Я свободен от всех и от вся!
Не подумайте дурно, но с облака
я на землю дождём пролился,
а потом прогремел, словно колокол.

Пусть не прав я, пускай виноват...
Ну, пописал и пукнул нечаянно.
Но они ж из зениток палят!
Разве это сосуществование?

Тут цунами я с цепи спустил,
то есть дул пред собой и покрикивал,
мрак ужасный нарочно сгустил,
пилотировал с воплями дикими.

Люди, бросьте меня донимать!
Дайте жить-поживать, как мне хочется.
Просто в небе люблю я летать,
среди звёзд, облаков, в одиночестве.

* * *

Лесная речка вьётся средь деревьев.
Там, где мелеет, убыстряет ход.
Река несёт печальные потери,
но неизменно движется вперёд.

В неё спускают всякие отбросы,
живую душу глушит динамит.
Она лишь плачет и покорно сносит
огромность угнетений и обид.

Петляет, изгибается, виляет,
в препятствие уткнётся — обойдёт.
Но на реку ничто не повлияет,
она обратно, вспять, не потечёт.

Встречая на своём пути плотину,
речушка разливается окрест,
так в правоте своей неукротима,
как будто она Лена или Днестр.

Иные реки катятся в болото,
иные испускают злую вонь...
В живой реке пленительные ноты,
живой воды живительный огонь.

Опять прокол, падение, осечка.
Растёт утрат необратимый счёт.
Ты должен быть, как та простая речка,
что знает своё дело и течёт.

* * *

Касса справок не даёт,
фирма веников не вяжет.
Нам всего недостаёт,
нам всегда, везде откажут.

Запрещён проезд и въезд,
всё, что нужно, дефицитно.
Только кто-то что-то ест
вкусно, дёшево и скрытно.

«Накось — выкуси» живём,
главное для нас — бороться!
Если ж плохо... Ясно, в том
виноваты инородцы.

САГА О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Он был хороший человек
и знал, что он хороший!
И с этим знанием прожил век,
хорошестью обросший.
Совсем не глуп, но не умён
и как-то неталантлив...
Но всё же что-то было в нём —
воспитан и галантен.
Был в меру лыс и в меру тощ,
и в меру толст, пожалуй.
А в общем, просто был хорош,
отменный, право, малый.
С узбеком он всегда узбек,
с татаринцом — татарин.
Он очень славный человек
и компанейский парень.
В охотку пил, со вкусом ел,
коль в гости приглашали...
И барышни в свою постель
его душевно звали.
Он в основном не делал зла,
был, значит, положителен.
Судьба его так берегла,
что стал он долгожителем.
Менялось всё в стране: момент,
эпохи и формации,
а он застыл, как монумент
с «хорошей» репутацией.
Стал изрекать и излучать
хорошесть то и дело.
И мне о нём стихи писать,
пожалуй, надоело.

1996

ДЕТСКОЕ

Если все-все-все железные дороги
взять и вытянуть в одну,
а потом, собрав всё-всё здоровье,
эту лестницу поставить в вышину —
так, что в чёрной звёздной тишине
прислонить верхушку лестницы к луне,
за перила-рельсины держаться
и по шпалам-перекладинам подняться...
Вот откуда здорово плеваться!

1989

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Есть в кино рабочий термин — уходящая натура.
Мол, кончается цветенье, осень или половодье...
Значит, надо эпизоды, что пришлись об эту пору,
фильм спасая от закрытья, обязательно отснять.

Уходящая натура всем диктует график съёмок,
задержать времён движенья не под силу никому.
Так сезоны отлетают, уступая новой смене,
умирают, чтоб воскреснуть и вернуться через год.

Но хитёр я, старый съёмщик: географию меняя,
я спешу на юг скорее, чтобы лето удлинить.
Мне случалось настигать за полярным кругом зиму,
догонять весну и осень, листопад и снегопад.

Но однажды наступает очень грустное прозреньё:
уходящую натурой вдруг себя осознаёшь...
Только тут уж не поможет изменение пространства —
север, юг, восток и запад мне спасенья не дадут.

1990

НА ПОКОЕ

Хотелось бы тихо и мирно стареть,
журналы листать, в телевизор глазеть,
сидеть на завалинке,
обутым быть в валенки
и старые кости на солнышке греть.

Но вместо того, чтоб спокойно сидеть,
я должен, потея, куда-то лететь,
забыв о завалинке,
что я уже старенький
и что меня запросто могут огреть.

С годами пора бы уже присмиреть,
вздыхать и кряхтеть, вспоминать и пердеть,
сидеть на завалинке,
обутым быть в валенки
и перед природою благоговеть...

1990

* * *

Жить бы мне
в такой стране,
чтобы ей гордиться!..
Только мне
в большом говне
довелось родиться.

Не помог
России Бог,
царь или республика.
Наш народ
ворует, пьёт,
гадит из-за рублика.

Обмануть,
предать, надуть,
обокрасть — как славно-то!
Страшен путь
во мрак и жуть,
Родина державная.

Сколько лет
всё нет и нет
жизни человеческой.
Мчат года.
Всегда беда
над тобой, Отечество.

1994



"Забытая мелодия для флейты".
Фальшивый дружинник застужал
Филимонова (Леонид Филатов) и Ве-
ру в лесу во время тайного
любовного свидания. Веря-
-Татьяна Догилева. 1986 год.

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА

О, это греческое имя — Леонид!
И зарубежная фамилия — Филатов!
Чудесен ты, красив и мозговит,
и очень обаятелен к тому же.

Любимец муз-сестёр, которых девять штук!
К тебе неравнодушна Мельпомена.
Она — трагедия — коленопреклоненна
перед тобой. Легла — не заносись! — Не Муза, нет,
перед тобой легла Таганки сцена.

А муза Талия! (Я талии лишён)
известна как комедии куратор.
Федот-стрелец был вместе с ней рождён.
Ты с этой музой согрешил, Филатов.

Прекрасен твой герой Федот-стрелец.
Не Скорпион какой-нибудь, не Водолей, не Рыба...
И пусть сложеньем ты не удалец,
зато в искусстве, несомненно, глыба!

Такие музы, как Эрато и Евтерпа,
не говоря уже о Каллиопе,
тебе вручили лиру стихотворца...
Тут лучше обойтись вообще без рифмы.

А муза дорогого нам кино!?
О ней и не догадывались греки.
Она-то втюрилась в тебя давным-давно
и своё сердце отдала тебе навеки.

Лишь Терпсихора не заметила тебя...
Она ушла — к кому!? — к Плисецкой Майе.
Ошибку сделала ужасную она
И до сих пор очухаться не может.

О, это греческое имя — Леонид!
Что в переводе означает: милый Лёня!
Хочу тебя поздравить от души
и пожелать тебе, бесценному, здоровья!

P.S.
Ещё одну ты, кстати, музу оседлал...
Её зовут в простонародье — телик.
И здесь ты всех умыл! И причесал!
Тебя люблю! Твой друг Рязанов Элик.

Декабрь 1996

* * *

Всё раньше темнеет, всё позже светает,
день ночи с обоих концов уступает...
Вот так же и жизнь отступает пред смертью,
и в душу вползают унылые черти.

Всё больше усилий, всё меньше отдача...
И горько сознание — не станет иначе.
Болезни — хреновая штука, поверьте,
а в душу вползают унылые черти.

Усталость всё больше, а радость всё глуше.
Пожившее тело становится суше...
Засыпали сердце печальные смерчи,
заполнили душу унылые черти.

Я тщетно пытаюсь поставить заслоны,
но, видно, судьба ко мне неблагоприятна...
Вползают... И мчатся в сплошной круговерти
в душе моей бедной унылые черти.

И вот победили унылые черти...
Ты, словно письмо, запечатан в конверте.
Конверт деревянный, и нет на нём марки,
и адреса нет... Догорают огарки.

1998

* * *

Жизнь прожить — нехитрая наука:
отыщи любовь да сбереги...
Место жизни — ближняя округа,
далью не прельщайся, не беги.

Даже если жизнь обыкновенна,
делай всё, что можешь, от души,
понимай всему живому цену
и судить чужого не спеши.

Трать себя, живи неосторожно,
выгод не считай, не мелочись...
Пусть с людьми и сложно, и тревожно,
ты пойми их суетную жизнь.

Жизнь, коль вдуматься, простая штука.
Главное, ни разу не предать.
Жизнь — совсем не сука и не скука,
если станешь дальним сострадать.

И живи! В любую непогоду!
Сочиняй свой собственный мотив.
А любить жену, друзей, природу —
не такой уж, право, примитив.

1998

НОСТАЛЬГИЯ

Ностальгия — это значит
неизбывная тоска,
когда сердце горько плачет
от любого пустяка.

Ностальгия, как дорожка —
очень трепетная нить —
в то, что больше невозможно
ни вернуть, ни воскресить.

Что такое ностальгия?
Это боль, и это крик,
и разлука с дорогими,
и со всем, к чему привык.

Ностальгия — это пламя,
не зальют его года,
это раненая память
об ушедших навсегда.

Голову сжимает обруч,
жизнь на медленном огне.
Ностальгия — это горечь
по потерянной стране.

По утраченному детству,
куда путь заказан вновь,
и не существует средства,
чтобы оживить любовь.

Ностальгия, как дорожка —
очень трепетная нить —
в то, что больше невозможно
ни вернуть, ни воскресить.

1983



На собственном юбилее с
обожаемой Беллой
Ахматовной.
На книге своих стихов она
написала:
"Среди разведенных друзей,
всемирных бедствий и разлада,
есть утешитель душ и душ,
избранник Мюз-Эльза Ризанов.
Спасибо Тебе 18 ноября 2009 г.
, Беллогка!"



На моем юбилее с Катюшей
Рождественской и баронессой
Екатериной фон Гецмен-
-Вальдек

ЮБИЛЕЙНОЕ

Если утром где-то заболело,
радуйся тому, что ты живой.
Значит вялое, потасканное тело
как-то реагирует порой.
Вот ты пробудился спозаранок,
организм твой ноет и свербит.
Не скорби о том, что ты подранок,
а проверь-ка лучше аппетит.
Если и со стулом всё в порядке,
смело челюсть с полки доставай,
приступай к заутренней зарядке,
на ходу протезов не теряй.
И, сложив себя из всех кусочков,
наводи фасон и марафет,
нацепи и галстук, и носочки,
распуши свой тощий перманент.
Главное — под ветром не качаться,
чтобы не рассыпаться трухой...
А вообще ты выглядишь красавцем,
на молодку бросил взгляд лихой.
Силы подкрепив свои кефиром,
ты готов сражаться с целым миром,
показать всем кузькину мамашу,
чтобы, ёлки-палки, знали наших.
Если ж нету спазмов спозаранок,
коль кефир не пьёшь, не ешь баранок,
может, час неровен, тебя нет?
Коль пусты и душ, и рукомойник,
может, ты уже... того... покойник?..
Сослуживцы вешают портрет!
Так привет вам, утренние боли,
вы — благая весть, что я — живой!
Что ещё я порезвлюсь на воле
с этой вот молодкой озорной.
Раз продрал глаза... Всего ломает!
Чую, рвётся жизненная нить!
А молодка позы принимает...
Дура! Надо в «Скорую» звонить!

1997

НОЯБРЬ НА ВАЛДАЕ

Эмме

Опять ноябрь раздел деревья,
опять окрест округа спит...
И, как сто лет назад, деревня
печными трубами дымит.

Дым вертикальными столбами
вознёсся к серым небесам.
Душа стремится за дымами...
И скоро улечу я сам.

Нигде не видно ярких пятен,
поблекло озера стекло.
А воздух чист! Невероятен...
Как на душе моей светло!

Над озером зависла дымка,
кочует ворон по стерне...
А мы с тобой идём в обнимку
по нашей старой стороне.

Твоё плечо, твоя поддержка,
моя уверенность в тебе...
И вот опять смотрю я дерзко
и снова радуюсь судьбе.

Стоят, обнявшись, две коняги,
на холки морды положив...
И я, забыв про передряги,
вдруг понял, чем живу и жив.

Мы, как они, храня друг друга,
тепло и силу отдаём.
И потому не сходим с круга,
а, взявшись за руки, идём.

Морозец свеж, и жить охота...
Шагаем мы по ноябрю.
Калитка наша... дом... ворота.
Как я тебя благодарю!

Январь 2004



Эмма и Я.
А сзади - Средиземное море

* * *

Как сладки молодые дни,
как годы ранние беспечны...
И хоть потом горьки они —
дай Бог, чтоб длились бесконечно.

В двенадцать, в снег, в пургу, в мороз
к нам Новый год пришёл намедни...
И был простителен мой тост
«Дай Бог, чтоб не был он последний».

Зимой измотан... Где ж весна
с её красою заповедной?
Болел и ждал. И вот пришла она!..
Дай Бог, чтоб не была последней.

Усталость, ссоры и мигрень...
Сменялись трудности и бредни
в нелепый и постылый день...
Дай Бог, чтоб не был он последний.

Бывает тошно... Устаёшь,
а тут ещё и дождь зловредный, —
осенний, безнадёжный дождь...
Дай Бог, чтоб не был он последний.

Преодолев души разлом,
на станции одной, дорожной
нашёл тебя... И стал наш дом,
дал Бог, обителью надёжной.

Седые волосы твои
свободны... Непокорны гребню.
А я? Я гибну от любви...
Дай Бог, чтобы была последней.

От жизни я ещё не стих, —
тревожной жизни и печальной...
И сочинил вот этот стих,
дай Бог, чтоб не был он прощальный.

3 февраля 2004

АВТОРА!!!

В 1961 году после фильма «Человек ниоткуда» я оказался в немилости, как бы опале. В глазах людей, командующих искусством, я стал личностью если ещё не целиком подозрительной, то, во всяком случае, с неприятным душком. В общем, человеком не совсем нашим. «Человек не оттуда» — так изволил пошутить со съездовской трибуны М.А. Суслов — секретарь ЦК КПСС, «серый кардинал», как его называли. Он заведовал идеологией партии и страны.

В поисках вещи для постановки я вспомнил о пьесе «Давным-давно» Александра Константиновича Гладкова. Собственно, именно он и станет героем этой новеллы.

Мне показалось, что, экранизируя пьесу Гладкова, я смогу убить двух зайцев, соединить два желания, как правило, несовместимых. А именно, не покривлю душой — пьеса мне очень нравилась — так что насилия над собой делать не придётся, а с другой стороны, патриотическая вещь Гладкова даст возможность успокоить незримую ошестившуюся силу в моей лояльности и идейной чистоте. Случай, как видите, подвернулся идеальный, так как ни о каком компромиссе речи не было.

Я перечитал пьесу. Вернее, прочитал в первый раз. В 1944 году, когда мне было семнадцать лет, я видел её на сцене Театра Красной Армии. Это был подлинный праздник, встреча с прекрасным, общение с настоящим искусством. Поставленный одним из лучших наших театральных режиссёров Алексеем Дмитриевичем Поповым, спектакль искрился, фонтанировал, подчинял себе полностью. С подмостков, на которых с ухарством, весельем, задором рассказывалось о славе русского оружия, о победах наших предков над Наполеоном, текли в зал электрические токи, возбуждавшие в публике гордость за страну, пьянящее чувство близкой победы, веру в национальный характер. Одним словом, я, семнадцатилетний первокурсник, сидящий в зале среди зрителей, испытал тогда дурманящее чувство счастья.

И вот спустя семнадцать лет я прочитал пьесу глазами. На меня в этот раз не давило ни исполнение, ни музыка, ни режиссура, ни декорации. Да и время стало другое. И сам я, надо думать, тоже изменился, стал вдвое старше. Так что был, как говорится, один на один с литературным текстом.

Пьеса меня отнюдь не разочаровала. Она была написана превосходными стихами, живыми, разговорными, афористичными, смешными, патетическими. Тут я понял, что вещь создана в первую очередь крупным поэтом. От пьесы возникало ощущение лёгкости и серьёзности, веселья и значительности. И драматургически она была слеплена очень умело и ловко.

Герои пьесы, смелые, лихие люди, которые весело дерутся, горячо влюбляются, бескорыстно дружат, готовы прийти на помощь другу, они ценят шутку, застолье и вообще любят жизнь — эти герои были мне необычайно близки и симпатичны. Мне захотелось снять фильм о таких персонажах, создать картину романтическую, героическую, музыкальную и весёлую одновременно.

И повод подворачивался удобный: через полтора года, осенью 1962 года, исполнялось 150 лет Бородинской битвы. Я не сомневался, что с запуском фильма сложностей не окажется (тут я ошибался, но об этом позже); понимал, что круглая годовщина поможет мне легко войти в производство.

Такова предыстория — несколько затянувшаяся, но тем не менее необходимая.

Итак, я принял решение: буду ставить «Давным-давно». Я пришёл с этой идеей к главному редактору нашего объединения (в «Мосфильм» тогда входило шесть объединений), к своему другу Юрию Александровичу Шевкуненко. Это был добрый, совестливый, мягкий человек, к сожалению, рано умерший от рака. Его пьеса «Серёжка с Малой Брон-

ной» была широко известна в начале шестидесятых годов. Шевкуненко был участником постановки пьесы «Давным-давно» в Театре Красной Армии в 1942 году. Будучи молодым артистом, он играл в постановке роль благородного испанца Винценто Сальгари. Так что вещь для него была близкой, родной, он был влюблён в пьесу, и поэтому его позиция была однозначной — ставить!

И тут я впервые услышал от него информацию, которой сначала не придавал большого значения.

— Договор с Gladковым будем заключать не на самую большую сумму, которая положена, — сказал вдруг Юрий Александрович.

Я удивился, так как он не был прижимистым начальником и никогда не обижал авторов.

— Почему?

— У нас в театре, тогда в эвакуации, в Свердловске, в 1942 году, во время репетиций у всех сложилось мнение, что пьесу написал не Gladков.

— Как? — воскликнул я. — А кто же?

— Понимаешь, когда надо было что-то переделать в тексте или написать несколько новых строк, он не мог. Врал что-то. Скрывался куда-то. Так Алексей Дмитриевич и не сумел из него ничего выжать, ни одной строчки, ни одной строфы. У нас никто не сомневался, что «Давным-давно» не его пьеса. Я уверен, он не напишет сценария, и нам придётся брать доработчика, который и сделает инсценировку. А доработчику надо будет заплатить.

— Откуда же могла появиться пьеса? Нет, невозможно! Тогда подлинный автор, если только это правда, объявился бы, предъявил претензии.

— Верно. Никто не предъявлял авторства на «Давным-давно».

— Сам видишь! — сказал я. — Это какие-то сплетни.

— Как сказать, — усмехнулся Шевкуненко. — В 1940 году Gladков сидел в тюрьме.

— За что? По политическому делу?

— По уголовному. Он ведь сумасшедший книжник, страстный библиофил. В научном читальном зале Библиотеки имени Ленина заметили, что стали пропадать ценные, редкие книги. Тогда в зал посадили сыщика, и он застучал Александра Константиновича, когда тот засовывал за пазуху какую-то библиографическую редкость. Gladков получил год тюрьмы. Осенью сорокового года он, отбыв срок, вышел из заключения, а вскоре после этого и появилась пьеса «Давным-давно».

— Ты думаешь, он её вынес из тюрьмы? — спросил я.

— Ничего другого, вроде, не остаётся. Обрати внимание — ни до этой пьесы, ни после неё, он не написал ни одного стихотворения, ни одной рифмованной строфы. А человек, который так сочиняет стихи, как автор «Давным-давно», — первоклассный поэт. Без большого поэтического опыта такой вещи не написать.

— И ты полагаешь, что автор пьесы не вышел из тюрьмы?!

— Тогда многие не выходили из тюрем, не возвращались из лагерей. История тёмная...

Передаю наш разговор, конечно, не дословно, но смысл его запомнил очень хорошо. И тем не менее я не очень-то поверил в эту зловещую монтекристовскую историю и отправился знакомиться с Александром Константиновичем Gladковым. Он жил во дворике, который размещался между Гоголевским бульваром и тылом Пушкинского музея изобразительных искусств. Где-то в углу двора притулился старый двухэтажный домик. В квартире Gladкова, на второй этаж, вела со двора деревянная лестница. Александр Константинович произвёл на меня замечательное впечатление. Добродушная застенчивая улыбка на немного одутловатом лице, добрые глаза опровергали любые нехорошие домыслы в

его адрес. Полноватая фигура, сидевший мешком немодный, дешёвый костюм, пузыри от колен на брюках и неизменная трубка в руках, — во всём облике чувствовалась неторопливость, спокойствие, обстоятельность. Помню, что в квартирке было действительно очень много книг и какая-то немудрёная мебелишка.

Гладков очень обрадовался моему намерению поставить фильм. Человек он был мало пишущий, очень небогатый (чтобы не сказать бедный), и это предложение ему было выгодно со всех точек зрения. Его пригласили в студию, где с ним и был заключён договор на написание сценария. Случилось это в апреле 1961 года. Руководство объединения оговорило с автором сроки. Чтобы успеть снять зимнюю натуру, я обязан был запуститься в производство не позже сентября. Срок сдачи сценария пришёлся на середину июля. У Гладкова имелось три месяца. Учитывая, что сюжет и фабула, образы и характеры, диалоги и песни, в общем, существовали, этого времени было вполне достаточно для писателя, который, в данном случае, работал не от нуля, а делал своеобразную кинокоррекцию готового произведения. Тем более, я подробно рассказал ему о своих режиссёрских пожеланиях: какие новые сцены, о чём, в каких именно местах пьесы понадобится ввести.

Гладков всё записал себе на листочках, сказал, что ему всё ясно, что максимум через месяц сценарий будет у меня в руках. И мы расстались. Я как-то легкомысленно не спросил Александра Константиновича, где именно он будет трудиться над сценарием. Когда недели через две или три я позвонил Гладкову узнать, как движется работа, телефон не отвечал. Никто не брал трубку ни утром, ни днём, ни вечером, ни ночью. Я поехал в знакомый дворик, звонил и стучал в дверь. Напрасно. Тогда я оставил записку, чтобы Гладков мне отзвонил. Ответного звонка не последовало. Когда я через неделю снова появился у гладковских дверей, моя пожелтевшая записка оставалась на том же месте. Я начал беспокоиться (честно признаюсь, не за судьбу автора, — за судьбу сценария), стал узнавать подробности его личной жизни. Выяснилось, что у Александра Константиновича был многолетний роман с одной ленинградской актрисой Большого драматического театра. Я набрался нахальства и позвонил незнакомой мне женщине. Я долго извинялся, прежде чем объяснил цель моего телефонного разговора. Однако в Ленинграде Гладкова не было.

Шевкуненко не злорадствовал. Он только грустно качал головой: я, мол, предупреждал! Потом сказал:

— Думаю, Гладков в течение нескольких месяцев не покажется. Если ты действительно хочешь ставить «Давным-давно», садись за сценарий сам.

Я предпринял ещё кое-какие поисковые мероприятия, но Гладков исчез, растворился, как сквозь землю ушёл.

И я засел за сценарий. Сначала сокращал диалоги. Это была труднейшая работа — ведь стихи, размер, рифмы. Поэтому приходилось, сокращая, дописывать отдельные строки. Пьеса, если её сыграть без купюр, шла бы на сцене пять с половиной часов, а фильм был рассчитан на час сорок. Представляете, сколько надо было убрать! Но при сокращении не хотелось поступаться ничем хорошим, эффективным, смешным, значительным. Я так углубился в пьесу, что знал её почти всю наизусть, я пропитался этим ямбом, усвоил лексику, ощутил манеру диалога, влез в шкуры главных героев и в эпоху, которую всё это время изучал. Новые сцены, которых в пьесе не существовало, я изложил прозой. Эти прозаически записанные сцены были, по сути, болванкой, своего рода подстрочником, который поэт должен был перевести в стихотворный ряд. Выступить самому в подобном поэтическом качестве я ещё не решался. Всё-таки надеялся на Гладкова, для которого я, по сути, и подготовил этот полуфабрикат.

Но автора не было: Александр Константинович исчез.

И, наконец, ура! Я узнаю, что Гладков живёт у Николая Оттена — был такой кинодраматург — в Тарусе. Я вскочил в автомобиль, положил на сидение напечатанный и пере-

плетённый вариант сценария с прозаическими вставками и помчался в Тарусу. Вскоре я предстал перед ничего не подозревающим Гладковым. Вообще Александр Константинович был человеком скрытного или, если хотите, вялого темперамента. Эмоции не играли у него на лице. Его симпатичная физиономия отнюдь не была зеркалом, отражающим его мысли и чувства. Он приветствовал меня довольно апатично, но дружелюбно. Сказал, что вовсю работает. Тогда я попросил его, чтобы он что-нибудь прочитал мне из написанного. Но Гладков начал упираться, говорил, что не любит показывать незаконченную работу. Я, памятуя слова Ю.А. Шевкуненко, решил напирать активнее, но Гладков был непоколебим. Он заявил, что через две недели приедет в Москву с готовой инсценировкой. Я дал Александру Константиновичу свои заготовки, просил просмотреть, как я сделал сокращения, и пройти по ним «рукой мастера». Кроме того, я объяснил, что представляют собой прозаические вставки в сценарий. Гладков горячо благодарил меня за проделанную работу, сказал, что мой вариант ему очень поможет и ещё раз подтвердил, что через две недели мы встретимся в Москве. Перед отъездом я ещё раз попробовал атаковать Гладкова. Попросил показать страницы, над которыми он трудится, просто показать физически. В ответ на моё, в общем-то, бестактное требование, он мог бы обидеться, возмутиться, накричать на меня. Но ничего подобного не произошло. Последовала невразумительная, вялая отговорка. Я понял, что больше настаивать невозможно, и уехал не солоно хлебавши.

После этой нашей встречи в Тарусе я не видел Гладкова очень долго, несколько месяцев.

Я вернулся в Москву, рассказал Шевкуненко о своей поездке и потребовал доработчика.

— Я думаю, тебе самому надо довести дело до конца, — сказал Юрий Александрович. — Ты в материале, а доработчик пока ещё влезет в пьесу, пока сообразит, что к чему... Уйдёт много времени.

— Но надо же писать в стихах! — удручённо воскликнул я.

— Ты же когда-то баловался стихами... — сказал Шевкуненко. — В общем, попробуй! Не будет получаться, пригласим кого-нибудь. Но я убеждён, что у тебя получится.

Но я всё-таки решил подождать пресловутые две недели. Конечно, никто не приехал, не позвонил, не написал. Сценарием по-прежнему не пахло. Я дал телеграмму в Тарусу. От Оттена пришёл ответ, что Гладков уехал...

И тогда я засел за стихи. Не буду врать, я управился с этим за неделю. Работа оказалась не столь сложной и пугающей. Если говорить откровенно, это походило на заплаты, которые нужно было подогнать к готовому костюму. Покрой, фасон, отделка — всё это существовало. Надо было, по сути, сделать искусную подделку, чтобы новые вставки не бросались в глаза.

К примеру, мне необходимо было показать, как Шура Азарова попадает в армию. В пьесе это оставалось за рамками действия. Но кино, мне казалось, требовало, чтобы такой важный сюжетный ход присутствовал на экране. Так я придумал сцену, в которой Шура со своим слугой-дядькой, денщиком Иваном, по дороге на войну замечает во ржи смертельно раненного русского штабного офицера. Далее я приведу небольшую сцену, которую написал в той же, как мне казалось, стилистике, что и вся пьеса. Шура соскакивает с коня, бросив поводья Ивану, и склоняется над раненым русским офицером.

Шура. Что с вами, капитан?

Офицер.

Я ранен пулей, в грудь...

При мне пакет с важнейшим донесеньем.

Корнет, я вас прошу закончить порученье,

мне данное фельдмаршалом. И в путь

немедля отправляться. За рекою
наш арьергард ведёт с Мюратом бой.

Шура (*берёт пакет*). Я докажу, что я доверья стою!

Офицер. Скорей, корнет. Скачи же! Бог с тобой!

Шура (*денщику*). Он ранен тяжело. Останься с ним, Иван.

Иван. Но барышня...

Шура (*обрывая денщика, чтобы он не выдал её принадлежности к женскому полу*).

Молчи! (Она вскакивает в седло). До встречи, капитан!

И Шура пускает лошадь в галоп. Она скачет к расположению русских войск. По дороге натывается на бивуак французов. Те устремляются в погоню за корнетом. Бешеная скачка. Шура, уходя от преследования, переплывает вплавь речку, русские пушки отгоняют отряд французов, и Шура, спешившись, вручает важный пакет генералу. Генерал приветливо встречает юного воина и, после Шуриного рапорта, принимает пакет.

Генерал.

— Что ж, на войне, мой друг, как на войне!

А ты, корнет, кавалерист с талантом.

Охотно б взял тебя. Пойдёшь служить ко мне

При штабе младшим адъютантом?

Шура. — Я рад!

Генерал (*прочитав донесение*):

— Мюрат пошёл в поход, нас хочет окружить...

Фельдмаршал приказал нам отступить!..

Я привожу этот пример отнюдь не для того, чтобы похвастаться. Стихи не бог весть какие. Но в контексте фильма они сослужили свою службу. Восемь новых эпизодов, даже не эпизодов, а сценок, ввёл я в сценарий, и в результате получилось произведение, пригодное, как мне казалось, для экранизации. И тогда я подумал: если уж я, человек, прямо скажем, со стороны, управился с переводом прозаических отрывков в стихотворный ряд за неделю, то автору пьесы для этой работы, тем более что существовал подстрочник, хватило бы вообще трёх дней. После всего случившегося то, что не Гладков — автор пьесы «Давным-давно», для меня тоже стало несомненно. Но, честно говоря, в тот момент литературоведческие изыскания меня не интересовали. У меня появились другие заботы.

Сценарий направили на утверждение в Министерство культуры СССР (Госкино тогда, в 1961 году, ещё не существовало). И тут случилось непредвиденное. Чиновники, занимающиеся в Министерстве кинематографическим отсеком, встали на дыбы. Они были против запуска «Гусарской баллады». Аргумент их был нехитрым: мол, невозможно отмечать юбилей Отечественной войны 1812 легкомысленной комедией, смакующей пьянки дворян и их любовные забавы.

— Гусары-рубачи, гусары-забияки, — кратко подытожил мнение чиновных редакторов тогдашний заместитель Фурцевой В.Е. Баскаков.

Перестраховщики, как они сами утверждали, не были противниками пьесы или же моей кандидатуры как постановщика. Они категорически возражали, чтобы подобное произведение создавалось к юбилею.

В конце концов «Гусарскую балладу», благодаря помощи И.А. Пырьева, удалось протолкнуть в производство. Пока разворачивались бои с Министерством культуры, пока шла борьба за запуск, Гладков по-прежнему отсутствовал. И ничего не подозревал о том, что происходит на «Мосфильме» с его вещью.



„Вы потащились в армию,
конечно,
Чай за любовником?
Не верю я в безгрешных...
Лариса Голубкина и Игорь
Ильинский. 1969 г.

Я же, признаюсь, о нём как-то и не вспоминал. Тем более уже и не нуждался в нём. Я целиком погрузился в свои режиссёрские проблемы, с головой ушёл в решение постановочных процессов. И вот где-то в ноябре (это вместо июля!) из небытия возник Александр Константинович со своей милой простодушной улыбкой. Он даже не очень затруднил себя объяснениями, пробубнил что-то, между прочим, насчет причин своего отсутствия, но я слушал его невнимательно. Мне это было уже неинтересно. Он взял написанный мной сценарий, прочитал его и на следующий день объявил, что согласен со всем тем, что я сделал, возражений у него никаких, и вообще ему повезло, что я оказался таким чутким к его литературному первоисточнику. Меня это тоже устраивало.

Гладков стал отныне появляться в съёмочной группе добровольно и довольно часто. Смотрел кинопробы, эскизы декораций, рассказывал о разных театральных спектаклях, об исполнительницах ролей Шуры, давал советы и, замечу, очень толковые. Человек он был мягкий, деликатный, неназойливый. Помню, как он поддержал меня, когда я осуществлял авантюру с утверждением Игоря Ильинского на роль Кутузова.

Об этом я подробно рассказал в своей книге «Неподведённые итоги».

Короче, отныне Гладков стал полноправным, интересующимся съёмочными делами автором. Когда же фильм был закончен, он пришёл на премьеру с двадцатью экземплярами пьесы «Давным-давно», изданной в издательстве «Искусство», и подарил их с трогательными надписями исполнителям главных ролей и творческим работникам съёмочной группы.

Работа над «Гусарской балладой» кончилась и ушла в прошлое. Меня с Гладковым кроме картины ничего не связывало. И мы больше не встречались. По-моему, после фильма мы не виделись ни разу. Но расстались мы в добрых отношениях. Близости, дружбы не возникло, да он был и старше лет на пятнадцать, но и вражды не было никакой.

Я пошёл по жизни дальше и, оставаясь при своём мнении об авторстве пьесы «Давным-давно», всё же порой сомневался в нём. Очень уж привлекателен был А.К. Гладков, в нём напрочь отсутствовала дешёвка, по своему характеру он совсем не был хищником, скорее наоборот. Кроме того, помимо первой тюрьмы, где он пострадал, вроде бы за дело, он сидел ещё раз, во втором случае совершенно безвинно. И опять его безмерная любовь к книгам сыграла роковую роль. Он где-то сподобился раздобыть книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» на русском языке. Не знаю уж, было ли это типографское издание или же машинописный экземпляр, во всяком случае, гитлеровское сочинение по-русски было неслыханной редкостью. Гладков дал книгу почитать какому-то своему приятелю. А этот доброхот донёс, сообщил, стукнул. И Гладкова арестовали...

Случилось это либо в конце сорок девятого года, либо в начале пятидесятого. Его обвинили в распространении вражеской идеологии и дали десять лет. Это было абсурдное обвинение — распространять гитлеровские бредни через пять лет после окончания войны не пришло бы в голову никому. Но шла вторая, после тридцать седьмого года, волна посадок, репрессий, преследований. В идеологии бесчинствовал Жданов, а тюрьмы и лагеря заполнял Берия. И Гладков попал в эту мясорубку. Он говорил мне потом:

— В эти годы я разделил участь своего народа.

В 1953 году, вскоре после смерти Сталина, Гладков был освобождён и, разумеется, реабилитирован. Скорому выходу его из лагеря способствовал, по рассказу самого Гладкова, следователь и писатель Лев Романович Шейнин.

Страдания, выпавшие на долю Александра Константиновича, тоже, естественно, располагали к нему. И всё-таки...

Когда я изредка вспоминал, как Гладков увиливал от написания сценария, я не мог понять, почему он, скажем, не нанял какого-нибудь литературного негра, чтобы тот зарифмовал ему, за плату, разумеется, эти несколько сценок. Можно было сослаться на свою неслыханную занятость, чтобы не вызвать подозрений. Но ему, видно, подобная хитрость даже не пришла в голову. Он простодушно полагал, что как-нибудь обойдётся. Сходило же с рук до этого. И он оказался прав, действительно, обошлось.

Шли годы, и я почти позабыл обо всей этой истории, как вдруг в четвёртом номере журнала «Вопросы литературы» за 1973 год, через одиннадцать лет после наших общений, появились гладковские мемуары, посвящённые созданию пьесы «Давным-давно» и фильма «Гусарская баллада». Я прочёл их, как вы понимаете, с нескрываемым любопытством. И тут у меня отпали последние колебания: как ни странно, именно эти мемуары, в сочетании с тем, что я знал, поставили для меня точку в этой истории.

Воспоминания А.К. Гладкова вошли в его книгу «Театр», изданную в 1980 году, так что найти его мемуары и ознакомиться с ними не представляет никакого труда.

Мемуары пишут по-разному. В этих, в ряде страниц, я чувствовал цель — доказать собственное авторство. Либо Гладкову говорили кое-что в лицо о сомнениях в его автор-

стве, либо до него доходили неприятные разговоры и слухи, а может быть, сознание мучила мысль, что пьеса принадлежала не ему, а надо было всех уверить в обратном.

Не могу доказать справедливость своих утверждений, да это для меня и не столь важно. Но какая-то неискренность порой проступает сквозь мемуарные строчки. А главное, приводится очень много совершенно несущественных, не имеющих никакого значения мелочей и подробностей, которые, вроде бы, должны создать у читателя атмосферу подлинности. Могу привести множество цитат, заставляющих пожимать плечами. Приведу лишь некоторые:

«Писалась пьеса в разные дни по-разному, но в целом легко и довольно часто — сказочно легко. Были рабочие ночи, когда я писал с ощущением, что кто-то за моей спиной диктует мне стихи...»

Действительно, интересно: кто?

«Я набрасывал сцену по приблизительной фабульной схеме, и все характерные черты и подробности являлись сами собой, как по волшебству...»

И тут трудно возразить...

Пойдём далее:

«Я сочинял ямбические строки не только у себя в комнате за письменным столом, но повсюду: в булочной, в метро, в вагоне электрички...»

...Финал третьего акта с репликой Нурина «Она или не она? Коль мы теперь одни...» я сочинял в поезде на перегоне между Тайнинской и Перловской...» Именно между Тайнинской и Перловской, а не между, скажем, Мытищами и Болшевым.

Ещё одна цитата:

«Суть эпизода с Кутузовым я придумал на углу улицы Фрунзе, возвращаясь домой из продмага...»

Конечно, дело каждого извлекать из своей памяти ту или иную подробность, но эти частности, приведённые в мемуарах Гладкова, служат, как мне кажется, только одному: они должны были убедить читателей в правдивости автора. А, может, я читал предвзято, надеясь найти подтверждение своей гипотезе, и любая невинная деталь казалась мне подозрительной? Может быть!

Далее следуют воспоминания Гладкова о том, как мы вместе работали над фильмом. Там сказано обо мне немало добрых слов, и я благодарен Александру Константиновичу за это. Хотя в контексте своих заметок выгляжу как раз ужасным неблагодарным чудовищем, которое выступает с какими-то немыслимыми разоблачениями, вместо того чтобы, на худой конец, промолчать. Страницы, связанные с постановкой картины, написаны довольно аккуратно, там всё больше общих слов, безликих фраз. Местоимение «я» встречается редко. Но некоторые частности, признаюсь, несказанно удивили меня. Итак, прильнём к гладковским строчкам:

«Мы решили отказаться от многих сцен, которые хорошо звучали в театре, а взамен написать новые...»

Я не совсем понимаю, при чём тут местоимение «мы» и глагол «написать»...

Дальше я цитирую ещё одно любопытное высказывание:

«...он (речь идёт обо мне) заставил меня переписывать стихотворный диалог, он добился своего».

Увы! Этой фразой Александр Константинович мне сильно польстил. Этого я как раз добиться от него не смог. Он стоял насмерть и не переписал ни одной строчки...

Собственно говоря, вот и вся история. Мне нечего больше добавить, а выводы делайте сами. Не знаю, надо ли было вообще рассказывать всё это? Во всяком случае, я не преследую здесь никаких целей, кроме того, чтобы поведать о том, с чем столкнулся, чему

был свидетелем. Я, как вы понимаете, сам ни на что не претендую. Я знаю точно лишь одно: пьесу «Давным-давно» написал не я.

Скорее всего, за этой загадочной историей кроется трагедия, каких случалось немало в наше жестокое время. Думаю, и, конечно, бездоказательно, что Гладков получил эту пьесу в тюрьме от человека, который никогда не вышел на свободу. Можно представить другую, не менее страшную версию, что автор выжил, но понял, что никогда не сможет подтвердить, доказать, обосновать своего права на пьесу и промолчал всю оставшуюся жизнь.

Во всяком случае, я понял, что в чужую вещь можно так вжиться, что она станет казаться собственной. По себе знаю, что такое вполне вероятно.

Итак, кто же подлинный сочинитель замечательной, можно уже сказать, классической пьесы «Давным-давно»? На всём этом лежит покров тайны.

Может быть, время ещё разрешит печальную загадку. Хотя, думается, секрет так и останется неразгаданным...

О БУЛАТЕ

У Булата был тихий голос, но этот голос слышали все. Он никогда не забирался на трибуну, не вставал на котурны, но его присутствие осознавалось всеми. Он никогда, что называется, не высовывался, не пытался привлечь к себе внимание, словом, «жил без самозванства». Но при этом всегда оставался в центре народного интереса, в центре читательского внимания. Булат оказал огромное, благотворное влияние на наше поколение и на тех, кто идут следом. Он был одним из духовных наставников нации...

Несколько раз мне доводилось вести его творческие вечера, его встречи с публикой. Меня поразило тогда, что он нисколько не заигрывал с аудиторией, не стремился понравиться, можно сказать, даже не был любезен с ней — был как бы застёгнут на все пуговицы. Но, несмотря на это, каждый раз из зала накатывалась огромная волна любви и обожания. Отвечая на записки, он был краток, даже сух, но говорил всегда по сути. Когда Булат сам забывал строчку какой-либо своей песни (а это случалось), из зала ему всегда подсказывали, народ знал его песни наизусть.

В наш трудный, порой страшный, век он никогда ни перед кем не заискивал, не лебезил, не угождал. Он никогда не ронял чувства собственного достоинства. Булат прожил прекрасную жизнь. Он хотел поведать людям о чём-то своём, сокровенном, и его услышали и поняли. Люди платили ему за его честный талант признательностью и любовью. У него был удивительный сплав разных дарований: поэт, прозаик, композитор, исполнитель, но, главное, он был Порядочный Человек с большой буквы. И при этом у него хватало широты, доброты и понимания некоторых слабостей, присущих человечеству. Он никогда не был сектантом, непримиримым, не был фанатиком собственного благородства.

И в том, что среди нас встречаются достойные, честные, великодушные люди, — несомненная заслуга Булата. Без него их было бы куда меньше. Он был для многих мерилom высокой нравственности.

Я счастлив, что Булат дарил мне своё дружеское расположение...



Б. Окулов }
А. Иванов }
Александр }
Татьяна }
Сергей }
Я. Разумов

После вечера Булата в Ямле
Литературов, где я был ведущим.
За кулисами: Булат, Ксения,
Галлаи, Александр Иванов, Татъ-
яна и Сергей Никитини и, разу-
меется, я.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эти заметки Леонид Филатов написал к первой пластинке моих стихов и песен, изданной на фирме «Мелодия» в 1990 году. С уходом Лёни мы все понесли гигантскую потерю — ушёл дивный артист, прекрасный сценарист, кинорежиссёр и телевизионный ведущий. Но главное — потрясающий, великий поэт. Я позволил себе поместить в книге эти лестные для меня строки, написанные моим дорогим другом и замечательным Человеком.

*Эльдар Рязанов
Апрель 2004*

Леонид Филатов

Его знают все. Не только по имени и фамилии, но и визуально. Популярности Эльдара Рязанова может позавидовать любая отечественная кинозвезда. Для любого актёра сняться у Рязанова — это благосклонная улыбка фортуны, это особая милость судьбы. Вот почему, едва получив от него намёк относительно возможной совместной работы, я тут же кинулся к нему, с хрустом ломая штакетники своих былых планов и намерений.

Можно ли считать его «баловнем судьбы»? Да, наверное, кое-кто из его коллег так и считает. Но его удачливость — это труд и талант. Никто не может упрекнуть его в том, что счастливая линия его творческой жизни когда-либо зависела от особого отношения к нему начальства. Напротив, из-за строптивости характера он постоянно ставил свою карьеру под удар.

Он чрезвычайно щепетилен в вопросах Чести. Сколько раз он кидался в общественные драки, предмет которых зачастую был так далёк от его личных интересов! Кидался, не очень вглядываясь в ордена и регалии тех, кто опекал объект его ярости. Кидался, потому что ненавидел ложь во всех её проявлениях.

И при этом он на редкость нежный человек. Тем, кто имеет счастье быть его другом, přátельствовать с ним или хотя бы общаться с ним время от времени, это его качество хорошо известно. Да, впрочем, это должно быть известно и тем, кто просто-напросто знаком с его фильмами, пьесами и телепередачами. Его искусство, его работа, его общественная деятельность — это свет его неравнодушного сердца.

Стихи Эльдара Рязанова — а их теперь уже много! — долгое время существовали как бы на обочине главной магистрали его творчества — режиссуры. Поначалу он даже пытался подписывать их псевдонимами. То ли стеснялся своей разносторонности: извините, мол, что я такой — и швец, и жнец, и в дуду игрец! — то ли проявлял таким образом обычную для людей с чувством юмора склонность к игре и мистификации.

Так или иначе, но песни на стихи Эльдара Рязанова теперь знает вся страна. И в этих стихах он, Эльдар Рязанов, тоже выражен сполна: и мягкий, и добрый, и ранимый, и простодушный, и философичный, всякий, всякий, всякий... Словом, такой, каким мы, его современники, знаем и любим.

1990

СОДЕРЖАНИЕ

Маленькое предисловие	5
«В трамвай, что несётся в бессмертье...»	9
Две встречи с Константином Симоновым	11

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Музыка — моя симпатия	25
Песенка корреспондентов	30
Песенка о песенке	32
«У природы нет плохой погоды...»	34
«На пристани начертано...»	35
«Нам снится, будто мы живые...»	37
«Живем мы что-то без азарта...»	38
Романс Ларисы	41
«Всё тороплюсь, спешу, лечу я...»	43
«Мы не пашем, не сеем, не строим...»	44
Любовь	47
«Как много дней, что выброшены зря...»	49
Молитва	51
Романс. («Ты укрой меня снегом, зима...»)	52
«Мчатся годы-непогоды...»	53
Последняя любовь	55
Песня на суде	56
«Дороже всего то, ради чего...»	58
О подлых обманах композитора Петрова. <i>Новелла</i>	61
О композиторе Саше Блохе	68
В соавторстве с Александром Галичем	71

МУЗЫКА ЖИЗНИ

«В мои годы сердечная лирика?..»	79
«Меж датами рожденья и кончины...»	80
Монолог «художника»	81
Листопад	83
«Существую в натуге...»	85
«Жизнь, к сожалению, сердита...»	87
«Мы отпускаем тормоза...»	88
«Я себе не выбрал для прожития...»	90
«Как много песен о любви к Отчизне!..»	92
Через десять лет	93
«У жизни нашей кратки сроки...»	94
Детские стихи о Рязанове, сочинённые им же самим	95
«Довелось мне поехать по белому свету...»	97
«Ржавые иголки на снегу...»	99
Детский рисунок	101
«Стихи — капризная материя...»	102
«Всё я в доме живу...»	103
«Почему участь горькая выпала мне?..»	104
Память о Санкт-Петербурге	105

«Жизнь одного уложится в строфу...»	106
Абстрактная живопись	107
«Я в мир вбежал легко и без тревоги...»	108
Пляж в Ниде	109
Ноябрь	111
«Прошедший год был мною недоволен...»	113
Апрель	115
Бессонница	117
Музыка жизни	119
Ленивое	121
1985 год	123
«Не знаю. Быть может, и вправду на небе...»	125
«Жизнь скоро кончится...»	126
«Хочется лёгкого, светлого, нежного...»	127
Зима («Город маревом окутан...»)	128
«Ветер закружился под деревней...»	130
Дебютанту-стихотворцу было 49 лет... <i>Новелла</i>	131

БОТКИНСКАЯ ОСЕНЬ

Впервые	141
Как будто вытекла вся кровь	142
Больница	143
«Вроде ссоры не было, заминки...»	145
Больничные частушки	146
«О, эта неуверенность в глазах...»	148
«Сто различных настроений...»	149
«Вроде, и друзей довольно...»	151
Мои вещи. <i>Триптих</i>	
Мои ботинки	152
Моя рубашка	154
Моя шапка	155
Прощание	158
«Вышел я из стен больницы...»	159
«Есть тяжёлая болезнь...»	162
Поход в театр	164

СТИХ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Сумерки	173
Фаталист	175
«Стих — состояние души...»	176
«Я ничему так не бываю рад...»	177
Курортные прибаутки	178
«Пусть мы живём в доме чужом...»	180
«На могучей реке, полновластной...»	182
«Когда-то, в первой половине срока...»	184
Монолог кинорежиссёра	185
«Когда повышенная влажность...»	187
«Живём мы на износ...»	189
Рабочая лошадь	190

«Почти обшарен шар земной...»	192
«Вроде бы люди умирают не сразу...»	194
«Пора поставить всё на место...»	195
Постаревшему другу	196
«Я, к сожаленью, в чём-то недоразвит...»	197
«Ты, как дом с пооблезшим фасадом...»	199
«Я желал бы свергнуть злое иго...»	201
«Оцепенелая зима!..»	202
Автопортрет	203
После фильма	204
«Я, к горести своей, не знаю предков...»	205
Короткометражки	206
Ветер	210
«Где Камергерский встретился с Тверскою...»	212

НЕ МНОЖУ Я ЧИСЛО ДРУЗЕЙ

Сверстнику	215
«Сон — это жизни продолженье...»	217
«Скажи мне, кто твой друг...»	218
«Как пробиться к такому стиху...»	219
«Когда я просто на тебя смотрю...»	221
Встреча	223
На отдыхе	226
Монолог участника массовых съёмок	229
«Воспоминанья зыбки, хрупки...»	232
«Не множу я число друзей...»	234

ТОЛСТЫЙ И ТОНКАЯ

Толстый и тонкая. <i>Заявка на комедийный сценарий</i>	238
Песни из неосуществлённого мюзикла	
Песенка о надежде	248
Исповедь толстяка	249
Куплеты жизнелюба	250
Жалоба полукровки	251
Прибаутки шута	252
Песенка влюблённого тучника	253

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Как меня пародировали. <i>Новелла</i>	257
Портрет	265
Смена возраста	267
Жалоба	268
«С понедельника, с понедельника...»	270
Фальшивая весна	272
Январь	273
«Как хорошо порою заболеть...»	274
«Я всё ещё, как прежде жил, живу...»	276
Кругосветка	277
«Я понял, что не образован...»	281

«Ещё пишу, снимаю, сочиняю...»	283
«Не надо слишком быстро ездить...»	284
«Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Весна...»	286
«Осень начинается в горах...»	287
«Какие звонкие ребята...»	288
«Я тороплю и тороплюсь!..»	289
«Когда-то, не помню уж точно когда...»	291
Капризная память	293
«Я летал над ночью землёй...»	295
«Лесная речка вьётся среди деревьев...»	297
«Касса справок не даёт...»	299
Сага о хорошем человеке	300
Детское	302
Уходящая натура	303
На покое	304
«Жить бы мне в такой стране...»	305
На пятидесятилетие Леонида Филатова	307
«Всё раньше темнеет, всё позже светает...»	309
«Жизнь прожить — нехитрая наука...»	310
Ностальгия	311
Юбилейное	313
Ноябрь на Валдае	317
«Как сладки молодые дни...»	319
Автора!!!	322
О Булате	341
Послесловие	344

Литературно-художественное издание

Рязанов Эльдар Александрович

ЛЮБОВЬ — ВЕСЕННЯЯ СТРАНА

